

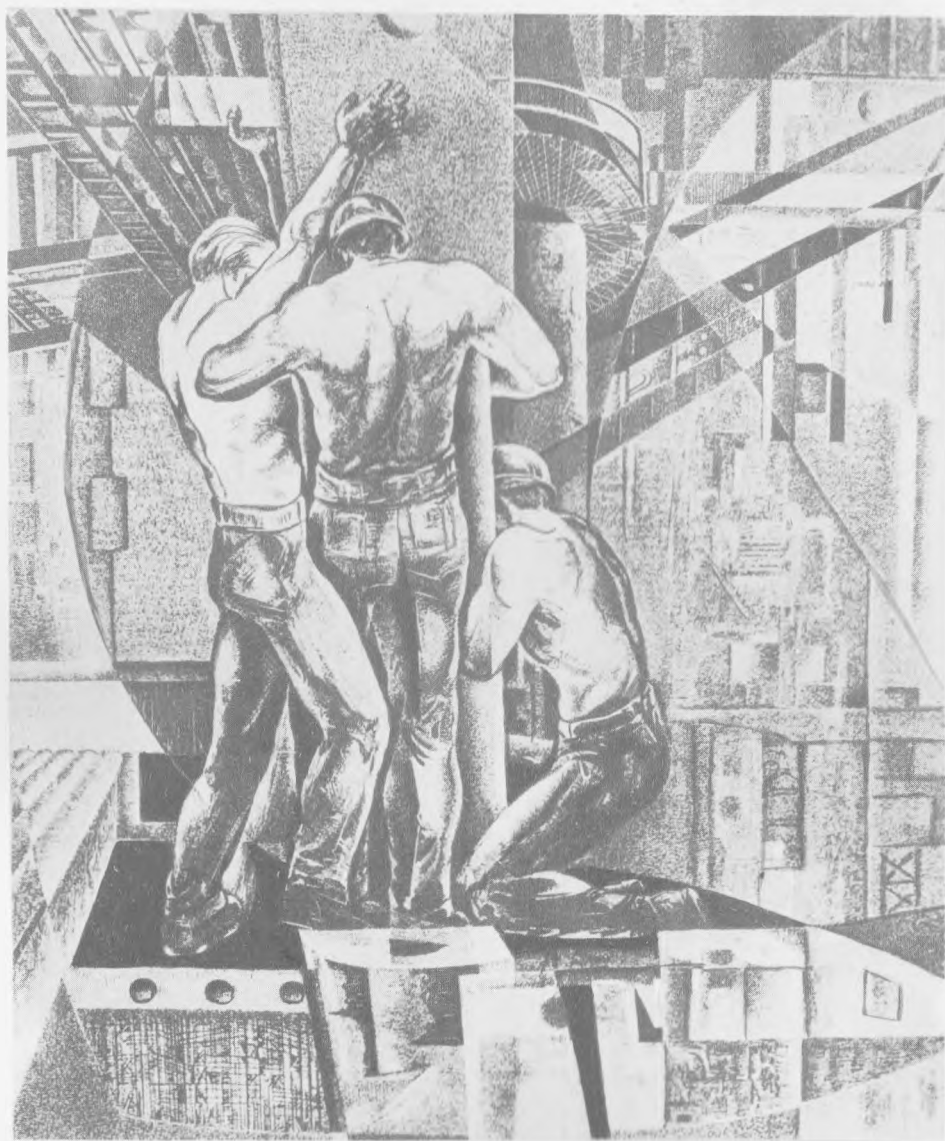
Р₂
О-38

1.1984

Январь — Март

ОГНИ
КУЗБАССА





В. Сотников. «Монтажники». Литография

№ 1(82)

Год издания 36-й

Выходит
ежеквартально

ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ,
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

В НОМЕРЕ

Редактор

Владимир МАЗАЕВ

Редакционная коллегия:

Виктор БАЯНОВ

Сергей ДОНБАЙ

Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ

Валерий ЗУБАРЕВ

(отв. секретарь)

Владимир КУРОПАТОВ

Владимир МАТВЕЕВ

Валентин МАХАЛОВ

Зинаида ЧИГАРЕВА

Геннадий ЮРОВ

СТИХИ

«От цветка до цветка...»

Любовь Никонова. «Я спала вне земли...» Берлиоз. Сцена охоты. «Среди многих местностей...» Звездочка. След ба-
рашка на глине. «Все дождь...» «Когда темно в душе...»
Татьяна Карманова. Тельбес. Гармония. Ирина Киселева.
«Я вас не приглашаю в гости...» «Ночь. Тьма...» «Одино-
кость свою унесу...» Нина Павлушина. Шемилуга 3
Михаил Небогатов. Березовский. Интервью бригадира.
О сталеваре. Памяти Александра Волошина 45
Сергей Донбай. Река сновидения 47

ПРОЗА

Владимир Мазаев. Зиму пережить. Повесть 7

НАШ СОВРЕМЕННОК

Юрий Котляров. Сибиряк гагаринского племени 50

ПАМЯТЬ СИБИРИ

Зинаида Карпенко. Первооткрыватели сибирского угля 66

СЛОВО — КРИТИКЕ

Людмила Ходанен. Художественный мир Екатерины
Дубро 68
Владимир Каганов. Жажда свершения 71

ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Владимир Матвеев. С улыбкой по жизни 73

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Алла Голованова. Взрослых не поймешь 77
Гурский. Бабушкины ходики 80

Кемеровское
книжное
издательство
1984

P2
O-38

Адрес редакции:
650099, Кемерово-99,
Советский пр., 40,
тел. 6-26-95, 6-85-14

Рукописи
не возвращаются

Ведущий редактор
Т. Махалова

Художественный редактор
В. Кравчук

Технический редактор
Г. Манохина

Корректор
Е. Тимощук

Первая стр. обложки: Я. Буймов. «Ранняя весна». Масло
Четвертая стр. обложки: Н. Бачинин. Пейзаж. Масло.

НАШИ АВТОРЫ

Никонова Любовь Алексеевна. Родилась в 1951 году в Поволжье. Окончила Новокузнецкий педагогический институт. Работает научным сотрудником Дома-музея Ф. М. Достоевского в Новокузнецке. Автор сборника стихов «Скрипичный ключ».

Небогатов Михаил Александрович. Родился в 1921 году в г. Гурьевске Кемеровской области. Участник Великой Отечественной войны. Автор многих поэтических книг, последние из которых: «Спасибо сентябрю», «Земной поклон», «Лето». Член Союза писателей. Живет в Кемерове.

Котляров Юрий Степанович. Родился в 1930 году в Прокопьевске. Окончил Кемеровский педагогический институт. Работает собственным корреспондентом газеты «Труд» по Кемеровской и Томской областям. Заслуженный работник культуры РСФСР. Автор книги очерков «Я вернусь к тебе, Россия» и коллективных сборников. Член Союза журналистов. Живет в Кемерове.

Матвеев Владимир Федорович. Родился в 1932 году в Калининской области. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Автор многих поэтических сборников сатиры и юмора, последний из которых «И смех и грех» вышел в 1982 году. Член Союза писателей. Живет в Кемерове.

Ходанен Людмила Алексеевна. Родилась в 1949 году в Кемеровской области. Окончила Кемеровский педагогический институт. Кандидат филологических наук. Работает преподавателем кафедры русской и советской литературы Кемеровского государственного университета.

143086-08
Сдано в набор 25.10.83. Подписано к печати 20.01.84. ОП06018. Формат 70×90^{1/16}. Бумага типографская № 3. Печать высокая. Усл. печ. л. 5,85. Усл. кр.-отт. 6,58. Уч.-изд. л. 7,94. Тираж 7 000 экз. Заказ № 18023. Цена 45 к. Кемеровское книжное издательство. Полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

„ОТ ЦВЕТКА ДО ЦВЕТКА“



Любовь Никонова



Я спала вне земли. Я не знала о ней.
Я не знала о матери милой моей.
И она еще тоже спала средь зыбей
И не знала о матери милой своей.

И ее, тоже спящая, милая мать
не могла о своей милой матери знать.
Поколенья в неведение спали светло.
Родословное древо еще не взошло.

Но пробился, пробился первичный росток
и цветок из себя самый первый исторг.
Побежала, как ток, жизнь, горька и сладка,
от цветка до цветка, от цветка до цветка.

Вот проснулась и мама. Разбудила меня:
посмотри, моя дочка, как прекрасна земля!
Забелели ромашки, засинела река,
Друг за другом по небу пошли облака.

Я лишь ахнула только, побежала играть,
на качелях качаться, и учиться нырять,
собирать землянику, и по-птичьи свистать,
и на крыльях фанерных с карниза летать.

Но однажды на миг прервала я игру.
Я увидела камень, дикий камень в бору.
Как на камне на этом, к лепестку лепесток,
Отпечатался древний, ржавый,
первый цветок...

БЕРЛИОЗ. СЦЕНА ОХОТЫ

Мелькнуло сомненье в душе:
к чему нынче сцены охоты?
Но вот музыканты уже
открыли бессмертные ноты.

Охотничий рог, затруби!
Звук долгий, морозный и чистый
прожжет нас до самой крови
своей красотой серебрястой.

И зубы заломит тотчас
от свежести той родниковой.
И высечет слезы из глаз
тот утренний воздух суровый.

И все. И конец роковой,
как надо, оркестр доиграет.
Но слышишь, как звук роговой
в крови все еще догорает?



Средь многих местностей есть местность.
Обыкновенное житье.
Сама невзрачность и безвестность —
извечная судьба ее.

И там, в той местности далекой,
в том незапамятном краю,
простое озеро с осокой
играет скромно роль свою.

В том озере, элементарном,
со взрослой рыбкой заодно,
парит, причастный общим тайнам,
малек с пшеничное зерно.

ЗВЕЗДОЧКА

Она отделилась от травяного узора
рубиновой каплей,
прозрачно костяничкой.
Она поднялась из болотца, а может, из бора
над сонной землею,
бормочущей, косноязычной.

Ах, небо огромно:
в нем горные звезды сверкают,
граненые звезды,
рожденные, видимо, в Андах,
и звезды-медузы из темных миров вытекают,
и светлячки проплывают
в зеленых скафандрах.

Но там, в стороне, на отлете,
где пусто и нemo,
где космос беззвездный струится
в забытое устье,
есть чистая ягодка провинциального неба,
искорка божья, кровинка,
изюминка захолустья.

СЛЕД БАРАШКА НА ГЛИНЕ

В обожженной степи — стойкий запах полыни.
Если б тучке пролиться сюда молодой!
В обожженной степи след барашка на глине
напоил меня теплой горьковатой водой.

С ощущением последнего поцелуя,
ничего не прося у судьбы своей вновь,
он потом засыхал, обнаженно пустуя,
будто сердце, истратившее любовь.



Все дождь. И ночью дождь, и днем.
Что скрыто там, за той завесой,
за тем струящимся дождем,
в той смутной стороне безвестной?

Там ветхий домик, толем крытый.
Дворняга старый у крыльца —
он женщине одной забытой
служить намерен до конца.

А вот она. Выходит в садик
к сырым смородинам своим...
С предвечным зовом их не сладит —
десятый год выходит к ним.

И от самой себя не спрячет
еще оставшихся в крови
водой разлитых дружб горячих
и уязвимых уз любви.

А за завесой дождевою
те, с кем дороги разошлись,
кто сизой птицей, кто травною,
кто корнем жизни нареклись.



Когда томно в душе, как в лесу,
вспоминаю дорогу с покоса:
мы сидели с отцом на возу.
Шла лошадка.
Скрипели колеса.
Так мы в сумерках сено везли.
И вечернюю близь созерцали.
Поднебесные травы цвели.
Придорожные звезды мерцали.

Татьяна Карманова

ТЕЛЬБЕС

Ты помнишь грибною пригорок:
кедрач, осины...
Где давеча луг косили,
там воздух горек,

там речка струится белкой,
считает камни.
В нее даже свет не канет,
так льется мелко.

Там утро туманы стелет
коням на холки,
там вечер блукает в елках
бездомной тенью.

Там ночью большие звезды
висят шарами,
и думы гуляют сами,
от тела розно.

И кажется, что без края —
одно лишь это
соитие тьмы и света,
души и рая.

ГАРМОНИЯ

Быть может, есть гармония вокруг,
но я слепа, ее не замечаю?
Гармония нейтронного начала,
протянутых за милостыней рук?
Гармония трамваев и сверчков,
сложивших песню на бетоне зданий?
Гармония крылатых созиданий
и коммунальных собственных оков?

Быть может, зря я сетую на смог,
на черный снег, железный гул составов,
на общую безликую усталость,
в которой город до костей промок?

Но почему все чаще ухожу
из стен удобных в наготу Природы,
где чувствую себя больным уродом,
взирая, как ползет по стеблю жук?
Он так красив, так неуклюж и смел,
он так раним, — лишь дотянись рукою.
Каким наитьем, силою какою
он выжить среди нас, людей, сумел?
Среди всемогущих, натворивших дел,
заполонивших мир теплом и светом...

А я к жуку иду искать ответа:
где кроется гармонии предел?
И, искренним невежеством полна,
смотрю, как жук, раскрыв крыла, взлетает,
и мир под ним качается и тает,
и я — вниз, к тропе пригвождена.

г. Новокузнецк

Ирина Киселева



Я вас не приглашаю в гости,
В мой сквозняковый неуют,
Где ловит кошка свой же хвостик
И кушно ходики поют.
Не приглашаю. Потому как
Боюсь рассудка не сберечь.
А снизойдете — вот ведь мука! —
Мне даже нечем вас развлечь.
Могу лишь путано и длинно
Души порывы изложить,
Напевом песенки старинной
На полчаса приворожить.
Могу заставить заглядеться
На яркий камешек в горсти
И чем-то вдруг напомнить детство,
А то и чарку поднести!

И тем развеять вашу скуку.
И будет это в самый раз!..
Благодарю вас за науку
Всеосужденья в глубини глаз.



Ночь. Тьма. А я и не забылась
Тревожным, одиноким сном.
Вот слышу вдруг: окно раскрылось,
Призывно прозвенев стеклом.

Смотрю, за чуткой занавеской
Неудержима, как слеза,
В сверканье, грохоте и плеске
Вскипает первая гроза.

Вскипает по своим законам
И в мокрых листьях тополей
Ворчит, шуршит, дыша озоном,
И ночь становится теплой.
Все тот же мир. И я все та же...
Гроза над мокрой головой
Уходит прочь, смывая тяжесть
С души, мятежной и живой.



Одинокость свою унесу
И зарю в прозрачном лесу
Возле корня, струящего сок
По стволу, что упрям и высок.
Дерн колючий приглажу рукой —
Словно не было — горькой такой.
Пусть она, когда тронется лед,
Одинокую любкой взойдет.

Нина Павлушина

ШЕМИЛОГА

— Выдерга! —
Кричала
Бабка в огороде: —
Ноги твои выдерну,
Клятая порода!

Дружить не разрешали
С «атаманом в юбке»,
И слыла я «шалою»
В нашем переулке;

В сарафане, босая,
Волосы копною,
Без седла,
По росам я
Ездила в ночное.

По меже неvspаханной
Убегала в поле —
Лишь подружки ахали
Моей вольной воле.

Но как-то весною
Роса не упала...
Пробежать босою
Очень стыдно стало.

И шептала вечером
Мать отцу с тревогой:
— Вот и заневестилась
Наша шемилога.

ЗИМУ ПЕРЕЖИТЬ

ПОВЕСТЬ

1

Когда Баздырев с Нюской на руках вышел из подъезда, а тетя Галя, тетя Каля, Шурка и Толян с вещами — следом, во дворе собрался почти весь их 12-квартирный коммунальный дом. Стояли, молча, смотрели с серьезными лицами.

Баздырев так растерялся (он хотел уйти тихо, ему рекомендовалось уйти тихо, не привлекая излишнего внимания), что опустил Нюську на землю и стал пожимать руку всем подряд — и взрослым, и детям — бормоча: «До свидания, товарищи... простите, товарищи... до скорого...» Он будто извинялся, что уезжает не как принято, как уезжали до него мужики первых призывов: с шумным крикливым застольем, с атмосферой легкой бесшабашности, бодряческих выкриков подвыпивших гостей и шествиями толпы родичей и знакомых до самого эшелона.

Он и Толяну заодно, обойдя всех, пожал руку, сказав «до свидания, товарищи». Дед Иван Анисимыч, который уже лет пятнадцать пребывал на пенсии и, несмотря на это, был самым информированным во всем дворе человеком, сказал, задержав руку Баздырева в своей:

— Не торопись, парень, все равно раньше темноты не тронетесь — знаю. Попрощайся с людьми как следует.

А бабушка Толяна, Наталья Демидовна, едва Баздырев приблизился к ней, поднялась с табуретки, мелко и часто перекрестила его, тот нахмурился, она проговорила:

— Ничего, сынок, не помешает, иди с богом.

Привокзальный их район отличался многолюдьем, центром была маленькая рыночная площадь, обставленная торговыми ларьками, магазинами. С баней и парикмахерской, с бревенчатым под жестяной крышей зданием милиции. Здесь же на углу одиноко высилась будочка водоразборной колонки, из которой брали по талончикам воду жители чуть ли не всего района — зимой в бочонки на санках, летом в ведра на коромысле. Конска ведро.

Дом стоял на кособоге, откуда отчетливо просматривалась вся индустриальная панорама города. Внизу, сразу за площадью, станция с переплестениями путей, за ней кирпичные кварталы центра, бревенчатые бараки так называемой Нижней колонии. И уже вдали, по-над горой, клубящийся ослепительный белым паром и дымками всех цветов радуги металлургический комбинат.

Весь день калило солнце, а сейчас, к вечеру, небо заволочло мглой, и над городом колыхалась предгрозовая августовская духота.

Шли они на станцию таким порядком: впереди Баздырев с Нюской на руках, сбоку его жена тетя Галя, нервная, угловато-худая, в зеленой обвисающей кофте, потом, чуть потстав, могучая в бедрах тетя Каля — в руках холстинная сумка с провизией и железный потертый сундучок с инструментом, — а там уж хвостиком Толян с Шуркой. Тащили за две лямки вещмешок, Шурка к тому же держал под мышкой отцовский рабочий бушлат, туго перетянутый алюминиевой проволокой.

Для чего бушлат, думал Толян, если человеку выдадут военную форму, шинель? И

главное — зачем, елки-молалки, инструменты? Смешно даже: туда с инструментами!

На станции никакого эшелона не оказалось, все выглядело обыкновенно. Стояли вагоны с лесом и гравием, маневровый толкал вперед-назад десяток углярок, единственная посадочная платформа пустовала. Однако взрослых это нисколько не озадачило. Все вслед за Баздыревым свернули, пошли вдоль рельсов, мимо плаката «По путям ходить строго воспрещается», мимо глухих складов с высокими погрузочными верандами и старых, ободранных вагонов на заросших пыльным, вонючим бурьяном тупиках.

Так по шпалам они подошли к массивному зданию — кирпичные выщербленные стены, овальная крыша, острый запах угольной золы и мазута — паровозно-вагонное депо.

Здесь до вчерашнего дня работал Баздырев. Мальчишки раза три прибежали сюда — посмотреть, как поворачивают на поворотном кругу паровоз, но сейчас-то зачем Баздырев сюда? Ага, наверное, хочет со своими попрощаться, с сослуживцами.

На площадке поодаль от входа толпились люди, их было немного, тоже, судя по всему, провожающие — большие женщины, ребяташки. Баздырев вскинул мешок за спину, взял сундучок, сумку с провизией, скрученный куклой бушлат и, не прощаясь, не оглядываясь даже, зашагал в широкие, густо закопченные сверху ворота депо, где стоял охранник с винтовкой.

Прежде никакого охранника здесь не было, мальчишки знали отлично.

— Мамк! — буркнул Шурка. — А чего это он ушел, зачем?

— Значит, надо, — сказала мать.

— Зачем надо-то? Он вернется?

— Вернется, отстань, — отмахнулась мать, глядя вслед мужу, вытирая уголком косынки глаза.

Прошло довольно много времени, вполне достаточное, чтобы обойти все депо из конца в конец — Баздырев не появлялся.

Людей на площадке прибавилось. Они тоже ждали. Кое-кто, утомленный ожиданием, уселся на штабель шпал, подстелив лист ло-

пуха, сорванный тут же под забором, а кто — прямо на рельсы.

Духота не отходила, сумерки сгущались, стали зажигаться огни. Далеко, смутно прогрохотал гром. Нюска раскапризничалась, тетя Галя сняла кофту, ушла к забору и села там, взыв девочку на колени; та вскоре затихла — уснула.

Мальчишки мучались разочарованием.

Они как-то прибежали уже на вокзал, видели, как провожают на фронт эшелоны, это были проводы! Оркестр, куча народа, речи с трибуны, ну и слезы, конечно. Здесь же — ничего похожего. А только группка притихших, ожидающих людей, отдаленное звяканье железа, пульсирующий шум проходящих по главной ветке поездов. И куда еще предстоит им потом тащиться, когда вернется Баздырев и другие мужчины, ушедшие в темный проем депо-ских ворот?

Далеко на западе страны, за много тысяч километров отсюда, вот уже больше двух месяцев гроыхала война.

Ее таинственно-тревожные отзвуки доносили сюда лишь репродукторы, газетные с уменьшившимся форматом страницы да торопливые листы агитплакатов на привокзальной площади. Других реальных признаков мальчишки пока не замечали.

Правда, неделю назад, после того как в газетах появилось сообщение о начавшихся налетах на Москву, окна отделения милиции и парикмахерской на рыночной площади засветились вдруг крестами бумажных лент. Но эта инициатива не была подхвачена. Должно быть, вовремя поняли: долететь сюда фашистскому самолету просто немислимо. И теперь милиция и парикмахерская одиноко и тревожно глядели на прохожих пугающе-белыми перекрестьями своих окон.

И еще: была в эти дни учебная тревога по светомаскировке города.

Мальчишки видели со своей горки, как враз погрузились улицы, далекие кварталы во тьму, даже жутковато стало. Зато металлургический комбинат, на километры растянувшийся под холмистой грядой, продолжал своим чередом выплавку металла, разгрузку коксовых батарей, и на отвале из вагонов-

ковшей не переставали литься водопады расплавленного шлака, оплескивая густым, багровым заревом полнеба. Эти процессы — уны — неостановимы... И попытки замаскировать город и завод от ночного воздушного прага на том были прекращены...

Только через полтора месяца прибудет первый эшелон — груженный оборудованием машиностроительного завода из Донбасса. А к началу зимы покатыт поезда с эвакуированными людьми. Одеты беженцы будут легко, не по-сибирски, скарб вздыбит вокзальную площадь. Так начнется и будет продолжаться с небольшими перерывами в течение зимы и особенно следующего лета великая драма расселения. И молодой город, не имевший ни метра свободного жилья, лишнего полена дров, примет, с мучительными усилиями рассредоточит, приютит и обогреет тысячи и тысячи семей.

Под жилье пойдут чердаки и подвалы, старые вагоны, предназначенные под снос бараки времен строительства комбината. А для тех, кому и такого не хватит жилья, выроят в кособорах землянки.

Потянутся санитарные поезда с ранеными, большая часть школ станет госпиталями. Ребятишек сперва переведут на трехсменные занятия, а позже — на занятия через день.

Перепополненный город войдет в изнурительно-жестокый режим военного времени. До конца войны будут сданы на хранение радиоприемники, погаснут рекламные огни, уличное освещение. Продукты по карточкам, топливо — уголь, дрова — строго по талонам.

И уже где-то в начале первой весны, в пронзительно-солнечные дни апреля сорок второго, на скрапной склад комбината прикатят платформы, неся невиданный еще в здешних краях груз: обугленные термитным огнем танки, смятые в пятнах зимнего камуфляжа автомашины, с разорванными стволами пушки, золотящиеся груды снарядных гильз и вообще бесформенные куски истерзанного чудовищной силой железа — первое вещественное эхо с полей недавно отгремевшей подмосковной битвы.

Первой победной битвы войны.

И на скрапном дворе комбината зашипят

автогены, бешено застучат пневматические молоты, кромсая, расплющивая, превращая в лом винтовочные и автоматные стволы, лишая соблазна окрестных мальчишек.

Но все это будет потом, значительно позже, а пока...

Пока Шурка и Толян уныло сидели под деповским забором, томясь в вечерней духоте, торжеством и не пахло, и Шурка явно испытывал неловкость перед другом, точно был виновником всей этой резины.

Вдруг те, кто сидел и стоял в ожидании ближе к деповским воротам, повскакали, зашевелились. Как по команде, отодвинулись от рельсового полотна.

В темной, таинственно подсвеченной внутренними огнями глубине здания, со стеной сплошь из мелких, жирно запыленных стекол, раздался шум, лязг, длинное шипение. Выбежал какой-то человек в замасленной до блеска спецовке, замахал руками пятась.

Словно по его жесту, заполняя весь овал ворот, поползло из подсвеченной глубины что-то угловатое, коробчатое, со свистом выдувало белые усы, дымило сверху короткой трубой. Оказалось — заваренный наглухо в панцирь серо-зеленых плит локомотив. Были видны грубые, рубчатые швы сварки. Тяжелые противовесы медленно крутящихся колес то появлялись под нижним срезом плит, то исчезали.

Потянулись следом приземистые коробки вагонов: один, второй, третий; потом — платформа. В бортовых скосах — тупые черные щели бойниц, люки отброшены. Над высокими стальными бортами платформы — захваченные стволы двух пушек.

Мальчишки, оторопев, вскочили, глядя во все глаза, стояли с раскрытыми ртами. Вот это да-а! Елки-моталки!.. Бронепоезд!..

Из депо толпой повалили рабочие — в расстегнутых куртках-спецовках, кто в рубашке с закатанными рукавами, кто просто в майке. Шли рядом с тихо катящимися вагонами, вровень с ними, задирали чумазые лица, будто сами удивлялись делу рук своих, возбужденно переговаривались.

На ступеньке первого броневагона стоял, ухватясь за железный поручень, военный с

пестлицами старшего лейтенанта, напряженно, взволнованно улыбался.

Поезд, часто попыхивая трубой, перестал катиться, со скрипом замер. Люди придвинулись к нему, заклацали массивные двери; члены экипажа — еще в своей, гражданской одежде — стали прыгивать на землю, смешиваясь с провожающими.

У Толяна от неожиданности увиденного, от неправдоподобной близости бронированной машины — этой ожившей вдруг легенды гражданской войны — холодела в мурашках спина.

Вспыхнул на деповской мачте прожектор, косо высветил в слабых сумерках толпу, переломились тени, мокро заблестели панцири вагонов и локомотива. Оказывается, лил уже дождь, но такой мелкий и теплый, что не ощущался. У Толяна замутнели очки, он нечетко все видел и не заметил, как и откуда появился Баздырев, снова держал на одной руке Пюську (та спросонья таращила на все глаза), другой рукой прижимал к себе за плечи Шурку. Тетя Галя пыталась накрыть кофтой дочку, одновременно глядя в лицо мужу, что-то быстро, страдальчески говоря ему, что-то наказывая.

Коротко дважды гуднул паровоз, и сразу люди у вагонов нервно задвигались — возгласы, крики прощания, поцелуи, рядом громко заплакала женщина...

Старший лейтенант скорым шагом шел вдоль поезда, придерживая у бедра командирскую сумку, требовательно повторял:

— По местам, товарищи! По местам! Мы и так сильно выбились. По местам, быстро!

Баздырев передал Пюську жене, поцеловал обеих, подбородок его дрожал, обнял тетю Калю; потом наклонился к Шурке.

— Ну давай, сын, держись тут, остаешься за старшего, — сказал он, тиская плечи сына. — Мать с Пюской береги, понял?

— Это ты там держись! — Шурка хотел ответить весело, как бы шуткой, но должно быть от волнения прозвучало грубовато, мать ахнула, и тогда он, неловко охватив отца за шею, прижался к нему мокрым от дождя лицом, спросил жалобно: — Ты ведь скоро вернешься? Тебя же не убьют?...

— Конечно, нет! Что ты, сып? Погляди, какую мы себе крепость отгрохали.

— Ага, ага. — Шурка закивал соглашаясь: крепость действительно была что надо. Разве найдется у немцев пуля или даже снаряд, которые смогут пробить эти чуть скошеннные мощные плиты, грозно серебрящиеся сейчас в потоках ночного дождя...

Я стоял в стороне, беспрестанно протирал пальцами стекла, страшно переживал в душе, что Баздырев так и уйдет, со мной не попрощается. Я не мог бы в эти минуты объяснить, почему мне так хотелось, чтобы Баздырев не забыл обо мне.

Звякнула сценка, Баздырев сделал несколько шагов к поезду, который уже двигался.

И тут только, в последний раз оглянувшись на своих, встретился взглядом со мной, с моими ждущими, отчаявшимися в ожидании глазами. Круто повернулся, подбежал ко мне, подал руку.

— Бывай здоров, герой. Дружи с Шуркой, вы, я вижу, парни правильные.

И мы попрощались крепким, сдержанным, мужским рукопожатием. Это видели все, потому что бронепоезд двигался быстрее и быстрее, и все переживали за Баздырева — вдруг не успеет?

Но он успел, конечно; легко запрыгнул, отеснив спиной товарищей, и его крутоплечая осадистая фигура видна была в железной черноте двери до тех пор, пока у деповского прожектора доставало 'вдаль света.

Весной сорок третьего мы снова встретимся, но уже без рукопожатия, и оба не заметим этого, ибо атмосфера встречи будет иной, да и мы оба будем уже другие.

И много позже этого дня проводов, спустя две первых, самых тяжелых военных зимы, после того, как случится непоправимое, я попытаюсь вспомнить в подробностях — как прощался Шурка с отцом, слова, которые он говорил, и что отвечал ему отец, какие у них были при этом глаза, жесты, выражения лиц — и ничего не смогу припомнить, ничего. Подробности сотрутся, будто смытые последним в то лето теплым грозовым дождем... Ах, Шурка, Шурка...

Первого сентября, как обычно, начались занятия в школе. Начались они с большой торжественной линейки. Просторный коридор второго этажа, служивший актовым залом, был набит битком. Два десятых стояли позади всех одной сильно уменьшившейся шеренгой, почти сплошь девчонки — молчаливо теснились друг к дружке.

Выступила директор, сказала: лучшей помощью фронту будет отличная учеба. За директором слово взял военрук. Уроки военного дела вводились во всех классах, начиная с пятого.

В заключение всей линейкой, нестройными напряженными голосами — дирижировала «певичка» — пропели песню «Вставай, страна огромная», разошлись без обычной веселой толкотни и гама по классным комнатам.

Шурка с Толяном учились в пятом. Толян был худенький, похожий на четвероклашку с первой парты, от рождения страдал косоглазием; восьмью лет ему сделали операцию, она была мучительной, прошла не совсем удачно, очки снять врачи не разрешили. Однажды при беготне он расколотил их. Два бесконечных месяца пришлось сидеть дома, пока мать с великими трудами не раздобыла ему новые. С тех пор Толян стал их приматывать к ушам нитками.

Путь в школу лежал через рощу, огороженную дощатой оградой. Со стороны их дома в ограде была дырка, а со стороны школы — законные ворота.

Роща тянулась широкой лентой вдоль склона увала. Деревья старые, стволы к земле в черных, иссохших корявинах. Посреди берез и осин, на чистом, вырубленном пятачке, возвышалась танцплощадка. Летними вечерами здесь всюду дудел духовой оркестр, горели электрические лампочки, прикатывала свою тележку мороженица, стояла в кольце очереди, ловко выдавливая из жестяного цилиндрика кругляши мороженого; шум, многолюдье, короткие за спинами взрослых ребячьих потасовки. А после танцев кое-какие пары загадочно удалялись в темноту рощи, и мальчишки, обуреваемые

жгучим любопытством, начинали за ними слежку...

Территориально рощей владели пацаны из «частного сектора», дворы и землянки которого подступали сверху крутым неровным склоном. Когда-то здесь были каменоломни, добывали абразивы, точильный камень. Район теперь так и звался — Точилинским.

Толян и Шурка старались точилинских не задирать, держали нейтралитет, но когда те сильно нагнали, приходилось с о з ы в а т ь с в о и х. До крупной драки, правда, не доходило, ограничивались демонстрацией силы, провокационными выкриками, бросанием камней, угрозами «подловить по одному», что иногда и случалось.

Они ходили в школу всегда вдвоем — так доставалось главным образом Шурке, крепышу, задире, человеку без всяких дипломатических задатков. Толяна при этом отбрасывали в сторону, говоря: «А ты, очкарик, отхли!» (На уличном языке: отойди, сгинь, не мешайся). Он был как бы не в счет.

Это презрительное великодушие почему-то больно задевало.

И пока он дрожащими руками, торопясь, отматывал от ушей очки, прятал в портфель, точилинские, налетев на Шурку петухами, уже стремительно разбегались, охлажденные окриком прохожего.

Шурка, сбитый на землю наглою подножкой, подымался, хмуро обивал о колено шапку.

Можно было ходить не через рощу, а пониже, тракторной дорогой, но, во-первых, это значительно удлиняло путь, а во-вторых, было обидно, и самолюбие страдало.

Среди точилинских особенно выделялся своей агрессивностью один, лупоглазый, Гошка, по прозвищу Мякиш. Он был не по возрасту мордастый.

Ходил Гошка Мякиш в широких штанах с чужого плеча, стянутых на животе в крупные складки, в кепке с оторванной пуговкой-нахлебником. Круглую зиму, от осени до лета, в стеганом взрослого размера ватнике, запахнувшись в него полтора раза. Во время потасовок длиннополый, без единой

застежки ватник полоскался за его спиной, точно кавалерийская бурка.

Он имел уже четыре привода в милицию, и поэтому его сторонились, даже побаивались, — мало ли на что способен человек, имеющий четыре привода!

3

Между их одиноко возвышавшимся многоквартирным домом и рощей лежал пологим склоном пустырь. Лебеда, лопушник, полынь, жесткая крапива устилали его густым и пахучим разномастным ковром.

Лет десять назад, в пору, когда закладывался металлургический комбинат, вдоль склона прорезана была земляная площадка — для строительства целой улицы домов. Однако улицы здесь так и не построили, площадка местами запыляла, сравнялась с косогором; по ней была протоптана удобная тропа.

В середине сентября на площадке появилась большая группа мужчин — человек сорок, что-то вроде команды.

Одеты непонятно как-то, в защитную форму, но на голове у кого что — тюбетейки, овчинные малаханы, шапки-ушанки, кепки. И гимнастерки — жеваные, с застиранными петлицами (а у иных и петлиц не было). А на ногах-то, на ногах-то — ну смех, умора! — ботинки без обмоток, только у пяти-шести нормальные сапоги. Да и в самих мужчинах незаметно было военной выправки, подтянутости, мальчишки уж в этом толк знали. Многие в возрасте — почти старики. Это были бойцы строительного батальона, а прочие — стройбатовцы.

Молча и несуетливо разобрали инструмент — лопаты, ломы, заступы, — принялись чистить и расширять старую выемку, копать котлован.

Работали они от утра до вечера, и от утра до вечера дымил рядом костер, над которым, привязанный за ручки, косо висел мятый, закопченный дочерна бачок.

Возвращаясь из школы, Шурка и Толяна остановились поодаль, смотрели на стройба-

товцев. Одни копали лопатами землю, другие сгружали с автомашины связки плотницких скоб, доски.

Что же такое тут решили построить?

Шурка не вытерпел, подошел, спросил пожилого дядьку со скуластым темным лицом, в потертой тюбетейке на стриженной голове — мальчишки решили, что это казах. Как раз был обеденный перерыв. Дядька, сгорбившись, сидел прямо на земле, на бушлате грязно-зеленого цвета, держал меж раздвинутых колен котелок с дымящимся варевом.

— Дядь, а дядь, чего это вы тут росте? Для чего?

Казах с полминуты смотрел на мальчишек, жевал, потом оставил ложку в котелке, вытер рукавом рот, произнес с сильным акцентом:

— А ты — кыто?

— Я-то? — Шурка слегка растерялся. — Ну я... это...

— Нэт! — перебил его казах. — Кыто ты?

— Зовут как, что ли?

— Фх, ны зовут!

— Ну... мальчик, в школе учусь.

— Нэт, — снова сказал тот, и черные в провалах суженные глаза его не мигая уставились на Шурку. — Ты ныг мальчик в школе!

— А кто же я? — Шурка пожал непонимающе плечами, попытался усмехнуться, но получилось это у него довольно кисло. Он явно был сбит с толку таким поворотом разговора.

— Ты?

— Ну да, я...

Дядька ткнул длинным корявым пальцем в Шуркину грудь, будто выстрелил:

— Ты — шы-пион, фх! — И по лицу его, вдруг принявшему свирепое выражение, совсем не было заметно, что он шутит.

У Толяна, стоявшего чуть позади, отчего-то похолодело в животе. «Бежать надо», — мелькнуло у него.

Недавно на вокзальной площади вывесили большие фанерные плакаты с рисунками «Окон ТАСС». На одном — очень ярко, выразительно — скрюченный человечек желтого цвета с вороватыми стреляющими глазка-

ми. Его огромное в виде граммофонной трубы ухо наставлено в сторону двух беседующих между собой людей. Под плакатом подписи: «Болтун — находка для шпиона!»

Плакат произвел на мальчишек, особенно на Толяна, сильное впечатление, хотя непонятно было: чего это шпион желтенький?

Толян стал ловить себя на том, что, проходя мимо толпы людей, какой-нибудь очереди, пытается угадать: а среди этих есть желтенький? Может быть, вон тот, в сплюснутой шляпе и с длинной папиросой в зубах (таких в магазине уже не продают), ишь как зыркает по сторонам; или вон, в стеганом бушлате, с мешком за спиной — бородатый. Бороду ведь приклеить запросто. И на месте не стоит, так повдоль очереди и шнырит...

— К-какой шпион... — Шурка, заикнувшись даже, издал робкий блеющий смешок, потоптался с ноги на ногу, слабо махнул пухатым увесистым портфелем. — Мы с ним вон в том доме живем.

Казах внимательно перевел взгляд на дом вдаль, одиноко окруженный дровяными ларями и сарайчиками, холмами погребов, точно сомневаясь в правдивости Шуркиного утверждения, поднял черный изогнутый палец.

— Всякий шпион живет в каком-нибудь доме. Ты почему сыпрашиваешь? — Он энергично, гулко хлопнул себя ладонями по ногам, слегка при этом подпрыгнув. — Нэт, ты почему сыпрашиваешь?!

— Ну почему... так просто. Интересно, вот и спросил. Вы нашу дорогу в школу вон перекопали, а нам и спросить нельзя... — замылил Шурка, пятясь от казаха. — Не хотите сказать, так и скажите. Мы чего уж — не понимаем, что такое военная тайна, что ли?..

— Вот! Тайна! — с готовностью подхватил казах, будто давно ждал от Шурки именно этого слова. — Понимаешь, а сыпрашиваешь у военный человека. Фх!

Он почесал большим, как речная ракушка, поттем под тибетейкой, губы его в редком, восторженном гребешке усов шевельнула как бы усмешка.

Мальчишки немедленно ретировались.

— Ха, военные, а где же у них оружие? Лопаты, что ли, оружие? — презрительно

разглагольствовал Шурка, когда они торопливо отошли на достаточное расстояние. Он чувствовал себя неловко за свою, пусть минутную, но робость перед этим стройбатом, хорохорился запоздало. — У нас дома такого оружия в кладовке навалом.

— Нет уж, — возразил рассудительно Толян. — Красноармейцы тоже все с лопатками — только у них лопатки маленькие.

— Но главное-то винтовка или даже автомат! — кричал Шурка.

— И у этих, может, есть. Но пока им не надо. Вот твой отец на фронт поехал — тоже без ничего.

Шурка аж привскочил.

— Без ничего? Это цельный бронепоезд — и без ничего?! — Уши его от возмущения стали свекольными. — А ты видел, очкарик, какие у них пушки? А пулеметы торчали!

— Чего обзываешься? Пушки видел, две штуки. А пулеметов не было.

— А бойницы видел? Из них торчали! Две пушки — это только на виду. А там знаешь внутри сколь всего запрячено? Так тебе все и выставят, держи карман шире.

— Не знаю, — сказал я упрямо. Я вспомнил, что плохо видел из-за дождя, заливавшего мне очки. Но, кажется, в узких окошках бойниц все-таки ничего не торчало. Но я не стал спорить, мне с Шуркой не хотелось сейчас спорить. Еще подумает: завидую.

А я ведь в самом деле завидовал — скрытно, тяжело, почти враждебно. Знал, что это плохо, отвратительно так завидовать, но ничего не мог с собой поделать. Эта подлая зависть была сильнее меня. Если бы мой отец уехал на фронт на бронепоезде, а все бы видели; даже пусть не на бронепоезде, а просто, как другие: эшелонем теплушек. Если бы мой отец слал сейчас треугольнички писем (от Баздырева, правда, пришло пока два, и те с дороги). Но я никого из своих близких еще не провожал на фронт и впредь не буду. Мне некого провожать: в нашей семье сплошь невоеннообязанные — бабушка, мама, сестра Оля и я.

— А я знаю, чего тут собираются строить, — заявил после недолгого молчания Шурка, обер-

Нувишься ко мне: все-таки эта загадка не давала, видать, ему покоя.

— Ну — чего?

— А вот чего-то! Сообрази сам, пошевели роликками.

— Дом, наверное? — высказал я первое, что пришло в голову.

— Ха, сам ты дом. Кто в войну будет дом строить? Пошевели еще.

— Может, штольню новую готовят? — предположил я.

— Ха, сам ты штольня. Ее бы в середку рыли, вглубь, а не повдоль.

— Да не знаю, чего пристал! — не вытерпел, разозлился я.

Шурка прямо-таки затанцевал от нетерпения.

— А вот не хочешь — объект!

— Ну, — сказал я, — а какой?

— Военный! Какой еще бывает объект!

Миновав косогор, мы подходили уже к нашему коммунальному одинокому двору.

Шурка уставился на меня круглыми глазами и, не в силах держать в себе догадки, выпалил:

— Да бомбоубежище, балда!

Я оторопел, даже остановился.

— Ты разве дурак? — выдавил я. — Почему тогда окна заклеивать отменили?

— Окна-то?.. Ну... окна... — Шурка только секунду искал ответ в своей взбудораженной голове. — Окна заклеить, если понадобится, это же раз-два — и дамки! А вот бомбоубежище раз-два не построишь.

— Ты врешь, Шурка. Сюда не долетят.

— Конечно, не долетят, кишка тонка, — сказал убежденно Шурка. — Ну, а вдруг?..

— Да для кого тут бомбоубежище-то? — не сдавался я. — Для одного лишь нашего дома, что ли? Точилинские пока сюда добегут или вон со станции — так бомбежка кончится.

— Никто не будет бегать, все будут спокойно, без паники, приходить сюда с вечера и здесь ночевать. Вон как в Москве сейчас, все спят в бомбоубежищах, в метро, разве не знаешь? — резонно заметил Шурка. Он, оказываясь, уже все успел продумать и учесть, вот зануда.

Я оглянулся и уже совсем по-другому, другими глазами посмотрел на вздыбленные рыжие

кручи земли вокруг котлована, копошащихся стройбатовцев. Потом перевел взгляд на стиснутый внизу, в кольце холмистых сопок город. Дымы металлургического комбината загибались в сторону города крутым коромыслом: это всегда предвещало непогоду.

— Ведь три с половиной тыщи километров, а Шурка? Разве долетят? Сами с тобой циркулем меряли, — сказал я.

— Это сегодня три с половиной тыщи, а завтра...

— Что завтра? Что завтра? — крикнул я холодея.

— Вот псих ненормальный, чо ты?

Шурка повернулся, пошел молчком впереди меня по тропинке к дому, перекошенный тяжелым, черт знает чем набитым портфелем.

Роща поблекла, высветилась, стала тихо опадать. В оголившихся макушках осин и берез проступили темные, растрепанные пятна галочьих и вороньих гнезд.

Пахло древесным дымом. Мальчишки никак не могли к нему привыкнуть, это был запах тревоги, смутного, неосознанного беспокойства — запах пожара.

По дорожкам, на вытоптанных местах, листья лежали гладким упругим ковром, а на траве, сникшей, но еще зеленой, молодящейся в последнем предзимнем порыве, они лежали встопорщленно, шевелились под слабым движением воздуха, точно крылы бабочек лимонниц.

Возвращаясь из школы, мальчишки взбегали на гулко пустую теперь танцплощадку, пинали сгрудившуюся по углам листву, кидались пахучими охапками друг в друга. Потом, как-то враз притихшие, словно опомнившиеся, торопились домой: дома их ждало много дел, да и есть хотелось.

Котлован на бурьянном косогоре углублялся, выброшенная земля зажеглась глиняными оплывами.

Несколько дней назад привезли и сгрузили штабель бревен. Теперь одни копали, а другие, сидя верхом на бревне, тюкали без устали топором, разбрызгивая вокруг белую толстую щепу. Непрерывно чадил засыпае-

мый щедро этой щеной костер. Дым, сырой и тяжелый, расплзался, цепляясь за бурьян, просачивался в рощу, запах его держался там до утра.

Шурка и Толян ходили теперь в школу, далеко огибая объект — то выше по косоугру, то ниже, ломаясь по сухой в белых облачках семян лебеде и полыни.

Они больше не пытались вступать с хмурыми, подозрительными стройбатовцами в контакт: очень пужно, они не желтенькие!

Казах сам однажды окликнул их, жестом подзвал к себе. На этот раз лицо его нестерпимо рябью морщин, означавших дружелюбную улыбку. Мальчишки сдержанно, как бы снисходя, подошли, остановились в ожидании.

— Ну чего? — грубо бросил Шурка.

— Подойди ближе, боишься, ны укушу.

— И никто не боится... Так чего звали?

— Такой молодой, а такой сыридотый, — сказал казах. — Ны хорошо, фх!

Шурка саркастически ухмыльнулся.

— Мы же шпионы... Так чего надо? А то мы уйдем, нам некогда тут...

— Шутка ны понымаешь, ай-ай. — Казах покачал стриженной головой в тюбетейке, потом спросил: — Мама, бабушка-дедушка — кыто дома есть?

— Ну. А чего? — продолжал бычиться Шурка.

— Ты сыпроси мама, бабушка-дедушка — может, дома какой работа есть?

Мальчишки переглянулись.

— Работа?

— Аха, аха. Работа. Погреб копать, дарова пилить, дуругой какой всякий...

— Не знаю, — деловито сказал Шурка. — Погреб у нас есть, а дрова... Это надо у мамы, это когда со смены придет.

— Сыпроси, сыпроси, — закивал казах, повернулся к Толяну. — И ты, мальчик, сыпроси — погреб копать, дарова, дуругой какой всякий.

Черные глаза его в складках век стали печальными, и мальчишки вдруг увидели латки на его гимнастерке, торчащие из коротких заношенных обшлагов темные загорелые запястья, худую обветренную шею.

Мама Толяна работала в поликлинике комбината кастеляншей, вставала рано, к первому трамваю, а возвращалась вечером по темноте. Трамвай ходил плохо, с перебоями, и всегда набит битком, не езда, а мучение, жаловалась мама. Поэтому она часто совсем не возвращалась — ночевала на работе, спала на мешках приготовленного к стирке белья. Толян не видел ее неделями.

Сестра Оля была телеграфисткой на станционном телеграфе, это рядом, пятнадцать минут ходьбы, но тоже — работа собачья, по полторы смены, а потом дежурство в отряде охраны революционного порядка, — такие отряды были созданы на всех предприятиях в первые же недели войны. Оля — случилось — «засыпала на ключе», глаза всегда красные от недосыну, Толян очень жалел ее.

Так что дома они хозяйничали вдвоем с бабушкой Натальей Демидовной. У нее болела нога, всегда толсто замотанная то полотенцами, то стареньким детским одеялком. «Моя кукла», — говорила про нее бабушка. Она говорила про нее всегда так, будто нога эта жила отдельно от нее, имея свой характер и свои причуды, не совпадавшие с бабушкиными. Бывало, хлопнет по ноге ладонью, пожалуется: «Кукла-то моя сѣдни ночью — ну извела. Положи ее на подушку да положи. Да повыше, помягче, иззудела меня вконец. Пришлось под голову жакетку, а ей, холере, подушку отдать».

Передвигалась бабушка, опираясь на табуретку, иногда даже выходила во двор — подышать. Всякое дело по дому выполняла, сидя на этой самой табуретке, — готовила обед, мыла посуду, стирала. Все остальные работы — накалывать из смершейся кучи и приносить уголь для печи, выгребать золу и выносить мусор, выстаивать хлебные очереди — падали на плечи Толяна.

И когда он передал бабушке просьбу казах, та сказала:

— Какая работа, какие дрова, щепки у нас одни, а не дрова — сам лучше меня знаешь. И потом — он же за это не деньги хочет.

— А чего? — спросил Толян.

— Продукты ему нужны, еда, ну — хлеб там, картошка. Где же это у нас лишнее? Картошку еще не копали, а хлеб и без того на день вперед берем.

— А у нашего ларя доска отстала, уголь сыплется, — сказал Толян.

— Вот ты и возьми молоток и приколоть, чего же это мы — свой мужик в доме, а доску приколотить — чужого нанимать будем?

Толяну это очень понравилось — про «своего мужика», — но вида не подал, а наоборот — хмыкнул насмешливо: еще чего! Да где такие гвозди взять, там же во! гвозди нужны — костыли!

В Шуркином доме работы тоже не оказалось. Мать — та просто отмахнулась от Шурки: отстань, откуда у нас. Сама она сразу же после отъезда мужа на фронт устроилась на сортировочную станцию — сцепщицей. Работа была тяжелой и грязной, посменной, но зато — рабочая карточка первой категории и талоны гортопа на дрова и уголь.

Отмахнуться-то отмахнулась, однако дня через три, растапливая утром плиту, которая дымилась и не хотела, как всегда, разгораться, мать всердцах тарарахнула чугунной дверцей, крикнула Шурке в комнату:

— Ты давеча со стройбатом своим привязывался. Он случаем в печном деле не тумкает? Не печник? А то пусть пришел бы, поглядел, поисправил чего... — Она опустилась на кухонную скамеечку, всхлипнула в ладони. — Отец собирался летом перекладь, да руки вот не дошли... Зимой опять замучаюсь...

6

Казах в печном деле «не тумкал», всю свою жизнь прожил в степи, в кочевой юрте скотовода, и русские кирпичные печи видел только издали. Так он и объяснил Шурке.

А через день или два, когда мальчишки пробегали мимо них по пустырю, он подзывал их к себе и указал на молодого мужчину в сбитой на затылок шапке с кожаным

верхом. Тот сидел поодаль на бревне, ловко гнал топором по бревну глубокий желоб.

Звали его Василий, был он родом из здешних, из какой-то пригородной деревни и, как большинство деревенских мужиков, умел многое. В том числе и класть печи.

Только на минуту остановив споровасто текущий топор, Василий спросил Шурку номер квартиры и велел передать матери: заглянет в ближайший вечер — как только получит увольнительную.

Инструмента у него, понятно, нет, так что пусть мать побеспокоится, добудет хотя бы мастерок, без него никак нельзя.

Но тут в школе было объявлено: завтра в колхоз. Иметь при себе чашку, ложку, теплую одежду и крепкую обувь — значит, не на один день.

Так оно и вышло: вернулись домой только на десятые сутки.

Старшие копали картошку, дергали уже перестоявший свой срок лен, а литиклассникам досталось собирать колоски.

Работа тоже не мед, муторная, на третий день отламывалась снина и грубый рогожный мешок все чаще выскальзывал из онемевших пальцев. Однако кормили хорошо, сытно: картошка с растительным маслом, ешь сколько влезет, и по кружке обрату. С хлебом, правда, хуже. Хотя тоже терпимо: буханка на день на пятерых.

Летом следующего, сорок второго, когда работали на вязке снопов (норма на школьника — двести снопов в день!), хлеба уже давали буханку на десятерых, зато кормили овсяной кашей. Каша была хоть и из плохо обрубленного овса, драла горло, но сытная и с добавочными порциями.

И еще: повезло с погодой. Наступил октябрь, дни стояли сухие, с прозрачным солнцем, и ночью падал иней. Вечерами жгли ботву в громадных кострах, пекли картошку. Потом забивались, закатывались в солому.

Утром, трясаясь от холода, вставали с чумазыми от печеной картошки руками и физиономиями, умываться никто не хотел, поэтому к концу работы все превратились в чертей.

Как бы то ни было, колхозную эпопею

выдержали с честью. Дезертировали только два семиклассника, позже им пришлось выстаивать перед школьной линейкой пятиминутку позора.

7

У Толяна, за время его отсутствия, домашнего особенного не произошло. Вот только все его домашние заботы в эти десять дней легли на сестру Олю. От ведер с углем и водой, оттягивавших ее слабые руки, у нее стал сбиваться на ключе почерк, пошли ошибки, и она получила по службе выговор.

Так что когда она пришла вечером со сменой и увидела брата, то обняла его щуплые плечи, чмокнула в ухо, засмеялась: ну слава богу, мужичок наш вернулся.

Шурка же Баздырев застал у себя следующую картину:

Плита почти до половины была разобрана, и все кирпичи, чисто оскобленные, приготовленные для новой кладки, сложены у стены штабелем.

Дымоход до самого потолка зиял черными оголенными внутренностями. Ключья сажи катались, подлетывая, по грязному, засыпанному известью полу.

В квартире было холодно, как на улице.

Нюська, одетая в пальтишко, запеленутая шалью, сидела на полу возле ведра с глинистым раствором, кормила со щепочки этим раствором куклу.

Остановившемуся столбняком у порога Шурке подумалось тогда: если бы вынести из кухни и единственной их комнаты всю мебель, оголить от картинок и семейных портретов стены, то и тогда квартира не выглядела бы такой опустошенной и сиротливой, какой она выглядит сейчас, заваленная грудой камня и зияя пустотой там, где, сколько он помнит себя, возвышалась печь, незыблемая, как эти стены или этот потолок...

От глупей Нюски разве чего добьешься, она только обрадованно скакала вокруг брата, лепетала: «Мама зинь, дёт коло, мама зинь, дёт коло» (мама в магазине, придет скоро). Спрашивала: а чего он ей привез? Шурка

вынул из сумки морковку. Нюська тут же заскобила ее крохотными зубками.

Прибежала мать, бросила кошелку (отварилась макаронами), стала торопливо переодеваться — опаздывала на смену.

Мечась как угорелая, разбрасывая в сердцах одежду, поведала.

В первый вечер Василий слазил на крышу, кирпич, обмотанный тряпьем, в трубу на веревке опускал — не помогло. Стал разбирать печь, добрался до дымохода. В нем-то вся и напасть, какой-то кирпич выгорел, какой-то провалился. Василий говорит: завтра не приду, дневалю. Ну ладно. Послезавтра наступает — его нету, на третий день — нету. И на четвертый не появился. Кухня в разгроме, я на плитке готовлю, замучилась.

Побежала на пустырь, а там никого, ни единого человечка, точно вымерло. Я туда, сюда. Бегу в домоуправление, где, мол, стройбатовцы, которые на пустыре строят? Ничего не знаем, говорят, это команда военная, нам не докладывается. Тут дед Иван Анисимыч подсказывает: кажись, на Нижней колонии их казармы, в старых бараках.

А там отвечают: отбыли в неизвестном направлении. А направление от нас одно — западное...

Застегивая промасленный ватник — крючки вырывались из пальцев, не попадали в петлю, — мать вдруг остановилась перед Шуркой, заплакала:

— Сынок, что же делать-то будем? Ведь пропадем в зиму, окреем. То хоть дымила проклятая, да грела, а теперь?.. Чего же он, стройбат проклятый, с нами сделал?

8

В самом деле, если рассудить: откуда он подвернулся, этот мастер печных дел, деревенский умелец, стройбат Василий?

Неужели с него, а вернее — с этой несчастной печки и потянулась нитка, приведшая семью Баздыревых к тому непростому, которое случилось на исходе второй, самой тяжелой военной зимы...

Хотя, если задуматься, причем здесь Василий, взявшийся в урывочные часы вечер-

них увольнительных перебрать дымившую безбожно печь. Небескорыстно, конечно, за плату — за тарелку супа перед работой и котелок картошки с собой в казарму.

Тогда уж лучше начинать с самого Баздырева, ушедшего на фронт и по этой причине не успевшего отремонтировать в доме печь. Но и он повинен разве лишь в том, что не сумел предвидеть такую штуку, как война.

Да и вообще — кто повинен во всем том, что случилось за эти бесконечные четыре года в доме, отстоявшем от линии фронта в трех с половиной тысячах километров?

Кто повинен в том, что сестра Баздырева, грузная тетя Каля, собирая весной сорок третьего, в мас, мороженую картошку на полях горных отводов, провалилась в выработку, повредила позвоночник и осталась инвалидом, прикованным на всю жизнь к больничной койке.

А дед Иван Анисимыч, ушедший работать автогенщиком на скрапной склад комбината, при разрезании танковой башни взорвался на оказавшемся там снаряде.

А сестра Толяна, красивая Оля, любимый которой не вернулся с войны, замуж так и не вышла, хотя в женихах недостатка не было, родила себе в тридцать лет ребеночка, назвала именем любимого, вырастила и теперь, опять одинокая, доживает на свою крохотную пенсию телеграфистки.

А сосед из третьей квартиры Громов, провсавший войну в разведке — вся грудь в медалях, — осенью сорок пятого, едва вернувшись по демобилизации домой, в первую же ночь застрелился из трофейного пистолета — только потому, что жена сказала ему неосторожное слово...

9

Печку вновь сложил дед Иван Анисимыч, — проговорился как-то, что однажды, еще в молодости, помогал знакомому печнику. Тетя Галя вцепилась в него мертвой хваткой, и он с большими сомнениями согласился. Но согласился больше оттого, что на дворе стоял уже октябрь, сыпала крупа и он видел: семья замерзает.

Иван Анисимыч думал: может, кое-что из навыков и знаний сохранилось, попробую. Но, оказывается, сохранилось мало, почти ничего. Выглядеть печь стала грубо, неказисто, однако, когда тетя Галя растопила ее, огонь сразу схватился, загудел, съедая дрова. Все плясали от радости.

Позже выяснилось: горит печь хорошо, не дымит, а вот греет плохо. Жар не держался, сильная тяга все высасывала в трубу. Лишь чугунная плита сверху да кружки на ней еще нагревались, а кирпич на боках и стена в комнату так и оставались чуть теплыми, даже если сжигалось ведро угля.

Что-то не так сделал бедный, старательный Иван Анисимыч — или дыру дымохода оставил больше чем нужно, или вообще забыл выложить какое-то регулирующее тягу колено.

10

Объект, возведенный стройбатовцами на пустынном косогоре между рощей и коммунальным домом, в котором жили мальчишки, издали вид имел угрюмый и загадочный. Длинное, наполовину зарытое в косогор бревенчатое сооружение; слегка сгорбленная крыша, засыпанная толстым — полуметровым — слоем земли; косые пенки отдушин.

Толян потом на всю жизнь запомнил эту закаменелую землю — черный перегной, перетолченный со стеблями бурьяна и комьями рыжего, будто спекшаяся кровь, глинозема...

Мальчишек сразу озадачили узкие, как щель, окна вдоль стены — пять или шесть. Уже не амбразуры ли? А еще больше озадачило и настрожило одновременно отсутствие какой-либо охраны, прямо чудеса да и только.

Ближайшее тщательное обследование объекта привело мальчишек к полному разочарованию, особенно Шурку. Объект оказался просто-напросто овощехранилищем.

Обыкновенное, рядовое овощехранилище — вот что построили на пустынном косогоре хмурые, голодные стройбатовцы!

Правда, овощей в него еще не завезли, наверное поэтому запоры дверей вместо замков были перехвачены проволокой, отмотать которую — только моргнуть.

Эта прозаическая деталь — моток старой проволоки вместо замка — доконала Шурку. Он даже плюнул с досады на дверь, захлопнув ее за собой и закрутив, как было, а потом, оглянувшись по сторонам, еще и помолился на нее.

Подобрав свои брошенные у входа портфели — дело было по пути из школы, — мальчишки побрели домой.

И на целый год, до следующей зимы, презренное сооружение это, так жестоко разочаровавшее их, по справедливости выпадет из круга их внимания.

11

То ли одёжка военных времен плохо гре-ла, или скудная — по преимуществу картофельная — еда мало давала калорий, а может, в климате случались какие сбои, но почему-то из всех ощущений тех лет самым стойким осталось одно — ощущение холода, лютой бесконечной зимы, пропитанного угольным дымом трескучего мороза, от которого деревенеют губы и слипаются в носу.

И даже комбинатовский утренний гудок, извещающий об отмене занятий в школах, кажется густым и мохнатым от инея — так медленно и натужно проникает он сквозь забеленные узорами окна.

В две недели раз Шурка с Толяном, схватив санки, отправлялись на склад гортопа.

Для этой операции обязательно нужен был третий — позарез. И они всегда долго решали, кого позвать: Кузю Шишигина, у которого старшая сестра стала недавно каким-то начальником и поэтому уголь и дрова им привозили на лошади, и он всегда ломался — идти или нет, — а если и шел, то все равно был ненадежен: в любую минуту мог бросить их, убежать, — или Анюту Курочкину из первого подъезда, эвакуированную.

Анюта всегда соглашалась, если была свободна, но тут другая беда. Пальто у Анюты тощенькое, из перелицованного сукна, валенки латанные-перелатанные, матерчатые ва-режки, и она до того околевала, что маль-

чишки прибегали к ее помощи только в случае крайней нужды.

Сегодня выдался именно такой случай.

Кузя Шишигин чем-то дома проштрафился, мать заперла его вместе с малышами на ключ, сама ушла в баню. Это он прокричал сквозь запертую дверь, а может, все придумал, хитрюга несчастный, поди проверь.

Пришлось звать Анюту. Мороз был не так чтобы очень, даже уши можно не завязывать, — ничего, вытерпим, терпеливая.

В тупике железнодорожной ветки, на ого-роженной арматурной проволокой площадке, возвышалась замеченная снегом гора тол-стых поленьев. В талонах гортопа это име-новалось «дрова швырок». Чуть подальше вдоль рельсов тянулся высокий и длинный, остроконечный бурт угля.

Между ними стоял дощатый домик, конто-ра склада, — с жестяной, вечно дымящейся трубой и с такой же вечной, казалось маль-чишкам, терпеливой очередью к ней.

Когда бы ни пришел сюда, люди уже стоя-ли, растянувшись изломанной цепочкой — от конторы и до ворот, сплетенных из той же гофрированной арматуры. За каждым тяну-лись на веревочке санки. Наверное, поэтому очередь виделась особенно длинной, удручаю-щей.

Поразительное дело, хвост ее никогда не выходил за пределы ворот, однако и не укорачивался. Стабильность гортоповской оче-реди была загадкой. Тут действовал какой-то неизвестный мальчишкам тайный регулятор.

Уголь отпускал пожилой, обросший щети-ной дядька в шубе и ватных штанах, а дро-ва — тетенька неопределенного возраста, тоже в шубе и тоже в штанах, сверх того замотан-ная пуховым платком.

С дядькой всегда выходило удачно. Маль-чишки уже изучили его характер и стара-лись извлечь из этого максимальную пользу.

Наступала очередь — Шурка энергично брался за лопату, а Толян держал наготове мешок. Они насыпали четыре мешка. После этого надо было подтащить их волоком к большим торговым весам и завалить на пло-щадку.

Здесь инициатива полностью переходила к Шурке. Надо было тащить так, чтобы и до весов не дотащить, и чтобы кладовщик увидел: мальчишки бьются из последних сил.

Шурка, ухватив мешок за горловину, кричал и пыхтел, умышленно громко покрикивал на слабого своего друга, помогавшего снизу. Мешок в самом деле был хотя и небольшой, но увесистый. Однако не настолько, чтобы так кричать.

Кладовщик наконец замечал их потуги. Взяв талоны и деньги и мельком только глянув наметанным глазом, махал рукой: ладно, на весы не кожилтесь, так вижу — не превышает. Жалел мальчишек!

Шурка же был уверен, что они превышают. Вот только на сколько превышают, проверить не удавалось: дома-то весов не было.

Толян однажды высказал предположение: а вдруг они наоборот — немножко не досыпают, надо бы хоть раз свешать, ну, для уверенности.

Шурка страшно рассердился, сказал, что кладовщик тогда увидит, что превышают, и заставит таскать на весы постоянно. И потом — менки поднимает главным образом он, Шурка, а не Толян, и кому как не ему, Шурке, знать их истинный вес.

Последний аргумент был неопровержим. Шурка безусловно был сильнее, тут и доказывать особо нечего. Бицепсом правой руки он рвал нитку десятый номер. Толяну же, как он ни напрягал руку, не удавалось порвать даже сороковой. По всей вероятности, семена сомнения в Шуркину душу упали. Шурка стал насыпать уголь так, что на завязку места не хватало, приходилось потом отсыпать обратно — явно лишняя работа и очередь нервничала. Раз за раз мешок развязывался по дороге и им приходилось голыми руками, сняв рукавички (иначе дома нагорит), собирать уголь пополам со снегом, тоже мало приятного.

Но Шурка был непреклонен. Купленного законно угля, по талонам, на две недели им не хватало, потому что их печка жрала.

С дровами волокиты было больше. Когда подходили к дровяному складу, Толяну ста-

новилося не по себе. Он думал тоскливо: сейчас, начнется...

Перед теткой-кладовщицей, закутанной до глаз, стояла квадратная рама на подпорках. Надо было, когда настанет очередь, из громадной, сваленной как попало кучи быстро надергать поленьев и сложить в раму. Но быстро не получалось. Поленья — смерзшиеся, обледевшие — выдирать приходилось с собачьим трудом.

Заполненная доверху рама означала кубометр. Поленья как на зло все были горбыли, в треть, а то и в полкругляша, какой же тут швырок, швырни попробуй, поднять да дотащить бы впору.

Однако поднять и дотащить — ладно, не главное. Главное — всунутый в раму швырок этот оставлял между собой пустое пространство. Шурка аж губы кусал с досады. Тонких поленьев попадалось мало — другие тоже были не дураки, выбирали! — и в поисках мелочи мальчишки лазили чуть ли не по всей деревянной горе, рискуя сломать ноги или шею.

Ругалась кладовщица, ругались нервные из очереди, но Шурка, как бы оглохнув, деловито распинывал валенками перетолченный снег, искал отщепины, затыкал оставшиеся пустоты.

Толян трусил перед раздраженной кладовщицей, боялся нервных из очереди, злился на Шурку, шипел ему сердито:

— Уже дополна, кончай ковыряться, а то я с тобой больше ходить не буду.

Пытался засунуть полено в раму единственным тонким сучком (само полено уже не лезло), Шурка так же тихо шипел в ответ, не оборачиваясь:

— Отскожь, тебе хорошо, ваша печка не жрет, а наша жрет.

Шурка был прав. Полведра угля, что притаскивал из ларя Толян, хватало на одну утреннюю растопку, но в квартире после этого тепло держалось весь день. Обед и ужин бабушка готовила на электроплитке. Правда, тут сильно сказывалось то обстоятельство, что их семья жила на втором этаже, а Баздыревы — внизу, на первом, где комнаты сами по себе были холоднее. Чуть мороз за

двадцать пять — шляпки гвоздей изнутри двери обрастали мохнатым ииеем, как грибы, углы отсыревали. Вдоль пола начинало тянуть.

Маленькая Пюська, которой приходилось обитать главным образом в нижних слоях квартирной атмосферы, постоянно простужалась, кашляла до посинения.

Едва только мальчишки, получив уголь и дрова и оттачив все в сторонку, сели отдыхать — прибжала Анята. Стеганные чулки на худых ногах, руки в старой материнской муфте из какого-то облезлого зверька — молодец, знает, что не на печке сидеть позвали.

Теперь можно начинать второй этап операции — перевозку. Сторожить оставшееся — вот для чего пужен кто-то еще.

Было у них два случая с Бузей Шишигиным, обманул, не пришел ко времени, и мальчишки вынуждены были кинуть оставшиеся мешки и дрова без присмотра, на произвол судьбы: груженные мешком угля санки одному, хоть тресни, в гору не затащить.

Первый раз, слава богу, ничего, пронесло, никто не успел позариться, а второй раз — отполовинили. Шурка, которого трясло от возмущения, утверждал, что отполовинили восемь горбылей, но Толян точно видел: не больше четырех. Вступать же в перебранку с Шуркой по этому поводу — четыре, а не восемь — значит, как бы немножко защищать воров. Толян и не спорил очень. Хоть сколько, урон ощутимый.

Важнее было, что в гортоповской очереди, когда еще стояли, более наблюдательный Толян заметил позади себя двух пацанов из точилинских, из свиты Гошки Мякиша. Факта воровства четырех горбылей точилинцами (восьми! — кричал Шурка) это не доказывало наверняка, однако безусловно подтверждало их подлую сущность; и пацанов этих следовало при случае подловить по одному.

12

В лето сорок второго хлынула вторая с начала войны — и самая массовая по численности людей — волна гражданских эва-

куированных. Жители южных, прикавказских областей и республик, жители Сталинграда, а также вывезенные из блокады ленинградцы, главным образом дети.

Уже к октябрю население города выросло на добрую треть. Нормы продовольствия — и без того скудные — были урезаны. Хлеб стали выдавать только по рабочим карточкам. Иждивенцам — не работающим на производстве женщинам и старикам — хлеб был заменен картофелем. По эквиваленту — за сто граммов хлеба четыреста граммов картофеля. Вместо круп и макарон — тоже картофеля. Открывшиеся было в первые месяцы войны коммерческие продовольственные магазины снова закрылись. Однако раздачу хлеба сверх карточного в школах удалось сохранить — пятьдесят граммов на каждого школьника в день.

Вторая военная зима надвигалась на город, особенно его обширные окраинные районы с печным отоплением, в мрачной, устрашающей перспективе обвалных холодов, на защиту от которых почти не оставалось топливных запасов.

Постепенно исчезли деревянные изгороди вокруг усадеб и огородов, многие дворовые постройки. Исчезли подсолнечные бодылья, лесом торчавшие в прежние зимы на заснеженных огородах — тоже оказались топливом.

Дольше всех — до первых морозов — стояли дощатый забор вокруг рожи и в центре ее танцплощадка. И забор этот, и прекратившая давно, еще летом, работу танцплощадка с будочкой кассира, киоском «пиво — воды» и домиком уборной в глубине деревьев были общественной собственностью и притрагиваться к ним топором — времена-то военные, законы суровые! — как-то остерегались.

Но остерегались только взрослые.

Поздними вечерами, когда не видно ни зги и только ледяной ветер шуршит в ветвях деревьев, стали раздаваться со стороны рожи треск и криканье выдираемых гвоздей — это орудовали пацаны, подростки.

Верхнюю, самую длинную сторону забора, обращенную к частному сектору, помаленьку

растасили точилинские, ближе к пустырю и овощехранилищу — мальчишки из двенадцатиквартирного дома.

13

Если пройти всю рощу насквозь, потом за рощей миновать школьный двор, потом обширную и совсем неинтересную территорию кирпичного завода, заваленную красной крошкой, каким-то жестяным хламом, заставленную без всякого порядка кособокими приплюснутыми строениями, то остановишься перед горой шахтного террикона.

Сама шахта с вертящимися беспрерывно колесами главного ствола, каменным корпусом комбината, грузовыми эстакадами, лесоскладом и веткой железной дороги — чуть поодаль, под склоном увала.

С некоторых пор террикон этот стал для мальчишек источником добычи дарового топлива.

Если хорошенько полазить по его крутым, в рваном камне бокам, то можно по кусочку собирать полведра, а то и целое ведро угля. Иногда попадалось дерево — черенок от лопаты или топора, сосновый изжеванный клин, а если повезет, то и черный обломок рудостойки.

Однако добыча эта была осложнена двумя немаловажными обстоятельствами.

Первое из них: шахта была под охраной. Случалось, появлялся неожиданно дед с берданкой, а может, и не дед, просто мужик в тулупе — издалека разве разглядишь. Лютым матом гонял всех от террикона. И не потому, что шахте жалко было этих бросовых в массе породы кусочков угля. Террикон постоянно горел — и глубоко внутри, и ближе к поверхности, и существовала реальная опасность провалиться в выгоревшие пустоты или быть подмятым скатившейся сверху глыбиной.

Днем по склонам курчавился веселый дымок, а ночами, особенно когда дул ветер, гора то там, то тут беззвучно фыркала искрами, калилась пятнами, и казалось: багрово-смутные, злобющие пятна эти сами по себе плавают в угольной черноте неба. По близ-

ким окрестностям растекался тяжелый запах жженого камня.

Если летом еще можно было спрятаться за огромными, скатившимися до самого низу глыбами, то зимой спрятаться некуда, разве что в снег.

Подножие террикона зимой заравнивало, а чтобы отыскать хоть обломочек угля, надо было карабкаться ближе к эстакаде, на черный, свеженасыпанный язык породы, и ты становился виден всему, пожалуй, Точилинскому району, не только охраннику. Тут частенько просвистывали камни, подсакивая с костяным, щелкающим звуком бильярдного шара. Рабочий, опрокидывающий наверху вагонетку, грозился вниз кулаком, ругался. Но для него они были недостижимы.

Второе обстоятельство, сильно затруднявшее точилинским мальчишкам пользоваться даровым, хотя и нелегким углем террикона, — это враждебность точилинской братии.

Террикон, стоявший на земле их района, они считали своей законной собственностью и никого посторонних не допускали.

Шурка с Толяном пытались по-мирному доказать им, что ответ на их, а «общий», и что его «на всех хватит». Точилинских, во главе с Гошкой Мякишем, эта логика не убеждала, ибо их было больше и они безусловно были сильнее.

Возле террикона шуметь и затевать драку нельзя было — услышит охрана, — точилинские устраивали засады рядом, на дворе кирпичного завода.

Однажды они напали на Шурку и Толяна, когда те, собирая в мешки по ведерку угля, шли узким проходом между складами. Напали подно, сзади. Толяна подмяли двое хилаков, свалили и несколько раз больно сунули лицом в снег. С залепленными очками, привязанными к ушам, он ворочался в снегу, фактически исключенный из драки. Шурка, уронив мешок, стал отступать спиной к стене склада.

Мякиш в своем развевающемся ватнике и еще один с ним, долговязый, в фабзайцевской черной шинели, как глиста, прыгали перед ним, тесня его в снег. Долговязый все

норовил пнуть своими ходулями, обутыми в кирзовые ботинки с деревянной подошвой.

Шурка, извернувшись, все же сумел захватить Гошке по его широкой морде. Морда аж хлопнула. Рукавица смягчила удар, но Гошка от неожиданности не удержался, сел раскорякой на снег.

Все трое остановились, тяжело, враждебно дыша, а Гошка, судорожно запахивая полы, повторял на вскрике: «Ну, падла, за это ответишь... Ну, падла, за это ответишь». При этом часто сплевывал на снег, провожая каждый плевок глазами, — удостоверился: нет ли крови.

А те двос, что свалили Толяна, подхватили оба их мешка с углем, резво кинулись за склады. Это был грабёж среди бела дня.

Шурка с отчаянным криком «куда, гады, а ну ложись!» упал грудью на Мякиша, и они вместе шишкнули в суроб. Захлебываясь от снега, набившегося в рот, и от горечи обиды, он коленками стал вколачивать Мякиша в снег, пока его не опрокинул долговзый. Они яростно забарахтались — теперь уже все втроем...

В общем, когда все кончилось и точилинские смылись, Толян, протерев наконец свои очки, увидел: Шурка сидит на пятках в мешке снега, сгорбившись, нервно проводя рукавичкой под носом. Полуотворенный ворот пальто свисает собачьим языком с его плеча.

По дороге домой, после долгого молчания, Шурка спросил:

— Тебе за мешок дома влетит?

— Не знаю. Если бабушка маме не скажет, тогда, наверное, нет, — ответил Толян.

— Бабушка у тебя порядочная, не скажет. А мне уж точно мать врежет. Больше у нас такого крепкого нету, она из брезентухи шила. Злая что-то она стала последние дни. Может, потому, что от папки давно ничего нет... Меня за эту несчастную печку прямо запилила. Если бы, говорит, не твой стройбат... А чо он мой? Скажи, чо мой?

— Пальто вот у тебя... — Толян покосился на его живописно болтающийся воротник.

— Ерунда. Счас приду прищипандорю, она и не заметит.

Назавтра он, как всегда, поднялся к Толя-

ну на второй этаж, постучал в дверь. В одной руке держал он мусорное пустое ведро, а в другой — наподобие посоха — старый черенок от лопаты.

— Пошги, что ли?

— Куда? — не понял Толян.

— Как куда — на терриконик.

Толян, стоя в дверях, замаялся.

— Да у нас, вроде, еще немного есть...

Шурка презрительно выпятил губы.

— А у нас нету, — сказал он жестко. — Небось сдрейфил?

— Сам ты сдрейфил. У них вон какая атаанда...

— А это зачем? — Шурка пристукнул черенком о пол. — Пусть только подсунутся. Одному по кумполу засвечу — другие сами отскочут. Через склады больше не пойдем. И ты тоже прихвати чо-нибудь поувесистее, понял?

— Ведро-то взял — на голову надевать? — поинтересовался Толян.

— Мешки все в погребе, раскапывать надо, — буркнул Шурка: должно быть, ему от матери все же нагорело. — Это уж теперь когда за картошкой полезем...

«Поувесистее, поувесистее...» — уныло думал Толян, одевшись и заглядывая в кладовку, шаря глазами по заваленным всяким хламом углам и полкам. Отпихнул ногой кота Басика: ты тут еще... Может, клюку с кухни?.. Он понимал, боец из него никудышный и что бы он ни прихватил «поувесистее», на исход стычки это повлияет мало. А если вдруг — ему по кумполу достанется и очки раскокают — тогда что? Где мать достанет другие?..

14

Пришел суровый январь второй военной зимы. Сводки с фронта продолжали поступать тревожные, но Сталинград держался.

Котловину города затачивали тяжелые туманы. Они пахли коксом и окалиной. Скрежестало на морозе железо. Крики паровозов со станции доносились резко, точно удары бича.

Каждое утро комбинатовский басистый гудок извещал об отмене занятий в школах.

Шурка Баздырев, натянув на себя все, что было теплого, тупым расшатанным колуном доламывал на дрова свой пустующий ларь.

Но в середине января морозы внезапно отпустили, туман исчез. Над городом пробуждал влажный снегопад, выбелил закопченные крыши, улицы, склоны пригородных увалов.

В полдень потеплело до того, что заморозил дождь и с крыш закапало. На дорогах выступили лужи, у подъездов домов, по тротуарам захламляла снежная каша. В валенках нельзя было высунуться — ну прямо апрель и только!

А в ночь снова завернул мороз. Да такой, что в роще до самого утра с треском ломались отяжелевшие от льда ветки. На проводах, толстых, как канаты, повисли блестящие гребешки сосулек. Провода тоже не выдерживали, рвались. Электричество погасло.

Шурка и Толян уже хорошо освоенным, безопасным путем, минуя двор кирпичного завода, — сначала по железнодорожной ветке, потом под какой-то длинной насыпью, потом вдоль штабеля труб, — прокрались к подножию шахтного отвала.

Было утро, они теперь учились в третью смену.

Картина открылась удручающая.

Гигантский конус до самой макушки матово поблескивал отечным льдом. По самому гребню, уменьшенная до размеров спичечного коробка, косо двигалась вагонетка. Только в двух или трех местах, где в глубине тлело и вихрился прозрачный дымок, были черные и вперемежку коричнево-ржавые, без льда и снега, пятна; туда лазить боялись.

Мальчишки остановились пораженные.

Шурка постучал подшитым валенком по коряво-остекленелому боку, цвикнул на него сквозь зубы. Потом, откинув в сторону пустой мешок, который он держал под мышкой, попытался вскарабкаться.

С трудом прополз на четвереньках шагов пятнадцать — и по-лягушечьи растопырившись, съехал на брюхе вниз, к ногам стоявшего внизу и смотревшего на его потуги Толяна.

Не вставая, хмуро и молча окинул взглядом гору.

Солнце, просочившись сквозь морочное, еще вчера сочившее влагу небо, залило склоны игривым, радужным сиянием. Розовые, синие, вытянутые, как летящие капли, тени заполнили каждую ямку, каждую вдавленку во льду.

Бока горы мягко переливались, точно оклеенный кусочками фольги елочный шарик. От этого предательского блеска у Шурки навернулись на глазах слезы.

Толян тоже в растерянности бросил свой мешок на землю, сел рядом с Шуркой.

Этой беды они не предвидели.

— У, короста, — с ненавистью пробормотал Шурка, шмыгнув носом. — До весны теперь не растает.

Толян возразил неуверенно:

— А может, растает.

— Отскочь, не растает! И дураку ясно.

— Вчера вон растаяло.

— Вчера, вчера, — вскинулся Шурка. — Дед Иван Анисимыч говорит: сто лет такого не было, чтобы в январе. А ты — вчера. Заткнулся бы со своим вчера.

— Чего ругаешься?

— А чего ты заладил — вчера.

— Это ты заладил.

— Ну и заткнись, без тебя тошно.

Толян обиженно отвернулся, скорчился от проникшего за нозуху холода. Делать здесь больше нечего. И Шурка со своим всезнающим дедом правы, конечно: не растает, хоть расшибись.

Всверху громыхнула вагонетка. Свал порою зашурпал, сношала, и затих, замер. Несколькими камнями, сумасшедше проскакав по склону, ударились о подножие, завертелись волчком по пасту.

Мальчишки только покосились. Камни эти и смотреть нечего — наверняка порода. До самого низу долетает только камень, порода. Уголь — он полечше — задерживается выше.

Шурка поднялся на ноги и со злым, упрямым выражением на лице молча пошел в другую сторону, за террикон — скрылся.

Минут через пять Толян услышал его приглушенный оклик. Он вскочил и, подобрав оба мешка, разогреваясь на ходу, запрыгал туда — и увидел:

Шурка, неизвестно как преодолев метров десять склона, сидел на самом краю ледяного панциря. Выше, в плитняковых вздыбленных склонах, тянулось пятно, свободное от льда и снега.

И только там, где из глубины невидимо струился теплый воздух горения, камни цвели ослепительно-белыми оторочками инея.

— Ну-ка брось сюда мой мешок, — сказал он, запаленно дыша морозным паром, оглядываясь.

Толян в нерешительности остановился. Он понял, куда хочет лезть Шурка, и внутри у него все сжалось.

— Не надо, Шурк, — сказал он.

— Ладно, чего там, давай, — откликнулся тот сверху.

— Не лезь, не надо.

— Да ты чо, я потихоньку.

— Хоть и потихоньку — не надо, а? — с непонятной настойчивостью упрасивал Толян.

— Я же не по горелому, а тут везде твердота законная. — И Шурка стукнул кулаком по плите, точно подтверждая надежность и «твердоту» поверхности.

— Все равно нельзя, давай что-нибудь другое придумаем.

— А чего?

— Не знаю.

— Ну вот и отскочь. Кидай мешок быстрее, а то дед с берданкой припылит.

— А давай к погрузке прокрадемся. Там с вагонов всегда падает.

— Балда, — сказал сверху Шурка. — Охранник только вокруг погрузки сейчас и вертится. Сходу сцапают.

— Не сцапают.

— Сцапают.

— Не сцапают. Убедим.

— Сцапают, сказал! Там бежать некуда... Ты кинешь мешок или нет?

— Пет! — упрямо выкрикнул Толян и в подтверждение своей решимости отбежал в

сторону, откуда если бы даже захотеть — не докинуть.

— Мнс-то — опять карабкаться? — Шурка швыркнул рукавичкой-шубинкой под носом и без всякого перехода угрожающе добавил: — Ну, короста, слезу — мало не будет.

Толян, держа оба мешка в охапке, на всякий случай отбежал еще дальше.

Шурка подсунил под себя руки в шубинках и, оберегая задницу от неровностей льда, съехал вниз. Толян кинулся бежать, подскользываясь на кочках. Шурка нагнал его, толкнул с разбегу в спину: тот упал, растянулся.

Шурка схватил мешок, дернул к себе — не выдернул.

— А ну отцепись!

— Не отцеплюсь. — У Толяна от бега и дыхания заиндевели стекла, и он, лежа на боку, клещом вцепившись в мешок, видел склонившегося над ним Шурку, как в тумане.

— А по сопатке? — сказал тот.

— Ну и бей!

— Сыми очки.

— Счас, разбежался.

Шурка пнул его валенком под бок, потом, ожесточенно дергая за конец мешка, потащил волоком. Шагов через пять тот не выдержал — пальцы ослабли, разжались.

Перекинув отвоеванный мешок через шею, Шурка снова настырно полез на террикон.

И тогда Толян, подскочив, ухватил его в отчаянии бессилия за ногу. Растопырившись, как наук на скользкой паутине, тот полуобернулся злым, искаженным от натуги лицом, выдохнул:

— Отпусти ногу, сказал.

— Не отпущу.

— Гадом буду, отметелю, — пообещал Шурка и свирепо дрыгнул пойманной ногой — валенок остался у Толяна в руках. Портянка из старого вафельного полотенца размоталась, повисла замысловатой спиралью.

Шурка перекинулся на спину, сел, держа разутую ногу на весу — изумление и беспомощность одновременно были написаны на его лице.

— Отдай пим, зараза, — сказал он.

— Облезешь.

— Нога же мерзнет. — Он пошевелил голыми пальцами.

— Слазь совсем, тогда отдам.

Гладко-розовая, с грязными трещинами пятка дернулась перед Толяновой физиономией, норовя тому в лоб — не достала. Шурка при этом, потеряв опору, так и поехал вниз с высоко задранной ногой.

— У, фашист несчастный, — выругался он, сидя на снегу с мешком на шее, и вдруг губы его задергались, вытягиваясь резинкой, щеки поползли в стороны — Шурка заплакал. Невероятно!

Он сидел и плакал, растирая грязной шубинкой смерзающиеся ресницы, а растерянный Толян, присев перед ним на корточки, неловко заматывал ему ногу вафельной портянкой, совал в нахолодавший валенок, борotal виновато:

— Ну Шурк... ну ладно тебе. Ну чего ты... Не проживем мы, что ли, без этого отвала?..

15

В сумерках горбатое, приземистое тело овощехранилища напоминает длинную забураченную насыпь. И когда на комбинате льют шлак и небо раскаляется, бревенчатые полоски стен начинают угрюмо отливать гофрированными сосульками льда, чернеют заплатами наглухо заколоченных окон-отдушин.

Широкие, едва не во весь торец двухстворчатые двери на треть завалены снегом. Корка его после оттепели здесь — сплошной лед. Но в размашистые эти двери-ворота врезана маленькая — нормальная, человеческая — дверь. Она расположена выше, поэтому немного только, на ладонь, впаялась в лед.

Мальчишки, нервно суетясь, окалывают се топором, который при каждом ударе звенит, крикает на весь пустырь, повергает в трепет их сердца. Хорошо, что входом хранилище поставлено к безлюдной сейчас, среди зимы, роше.

Замковая петля, как и прежде, окручена проволокой. Только прежде она была алюминиевая, пустяковая — раз-два и дамки, — а теперь из железа, в палец толщиной.

Мальчишеские лбы под шапками взопрели, пока общими усилиями удалось размотать все ее узлы.

В овощехранилище темно, как в заброшенной штольне.

Несмотря на то, что вошли они сюда с улицы, с мороза — разгоряченные лица их леденит погребной застоявшийся холод.

— Чиркай! — громким шепотом командует Шурка, и когда в руках Толяна вспыхивает спичка, он подносит скрученный жгутом тетрадный листочек.

На полминуты вспыхивает факел.

Пустыня стен, пустыня земляного, цементной твердости пола. Свинцовый запах гнили, грибка. Два ряда бревенчатых стоек, уходящих во тьму. Они поддерживают земляную крышу. Устрашающая в своем безмолвии пляска теней. Хищный — из глубины — взблеск проникшей на стены наледи.

Вторую зиму стоит овощехранилище и вторую зиму пустует, потому что хранить в нем нечего...

Шурка хлопает ладонью по круглому боку ближней стойки. Это сосна. Кое-где по ней еще кучерявится кора. Верхний конец упирается в балку, в вырез, который придает ей устойчивость. Нижний — прикопан, а может быть, просто вдавился от тяжести.

Скорее всего это так. Крыша полуметровой толщины.

— Если брать с умом, тут знаешь на сколь хватит? — Шурка старается придать голосу важности: эта идея принадлежит конечно же ему, и сейчас он видит, как легко и просто она осуществима.

Всё-таки голос его чуточку дрожит, и когда бумажка гаснет, осыпав руку теплым пеплом, он опаздывает поджечь от нее другую, бормочет оправдывающе:

— Гадство, пальцы обжег, давай еще...

— Три штучки осталось, — предупреждает Толян и оглядывается на дверь, которую они оставили полураспахнутой: не хватило духу прикрыть за собой — так боязно было ступить в этот затхлый, пугающий мрак.

— Ладно, свети, а я вот по этой сейчас дербализну...

Теперь факелы жжет Толян, а Шурка, ко-

торый ростом на полголовы выше, вздымает топор и с размаху бьет обухом по стойке — шмяк! Промерзшее дерево — как кость. При этом важно ударить повыше. Сдвинулось или нет? Зараза, чего-то незаметно.

Еще разок — шмяк! А теперь?

— Свети, свети! — шипит возбужденно Шурка. — Чего телишься?

Ага, теперь, кажись, подается. Толян не успевает вытаскивать из карманов жубейки и поджигать заранее, еще дома, накрученные жгуты. Шмяк! Ну и звук — прямо палкой по затылку. Конеч стойки с каждым ударом все больше выползает из паза.

Честно сказать, вся эта затея с забытым овощехранилищем ему не по душе, хотя дрова нужны хоть тресни, особенно Баздыревым. Если бы не случай на отвале, не Шуркины неожиданные слезы, которых прежде никто не видел у него даже в драках, Толян обязательно отговорил бы его и они придумали бы что-нибудь другое.

Все-таки овощехранилище — не отвал породы, где все бросовое, ничейное. Хоть и пустое стоит и сгнило почти, все равно оно чьето. Спанают — и будешь жить с приводом, как Мякиш, а то и похуже чего. Говорят, какой-то пацан взял с платформы шапку жмыха — в кэпзэ насиделся. Жуть-то какая, темнотища-то вырви глаз. Тени от стоек прямо сбесились. Как недавно в кинокартине «Большая жизнь», которая про шахту, про шпионов и вредителей. Разве поманит после этого в шахту — бр-р!..

Наконец двухметровой высоты стойка с глухим шмяком падает наземь. Вывернутый ее комлевой частью глиняный пласт на сломе — в блестях изморози.

Шурка победно, с усталым выдохом вонзает в поверженное бревно топор.

— Хватайся с того конца!

Напрягая все силы, они поднимают бревно и, ориентируясь лишь на слабое свечение дверного проема, выбирают наружу. Замаывают дверь проволокой.

Сумерки уже плотно окутали пустырь, слева темная стена роңи, справа в отдалении светится окнами их одинокий дом. Доносятся

голоса катающихся с горки под окнами дома малышей.

Скользкое, неухватистое бревешко крутит-ся в руках, выворачивает суставы.

Не проходят они и полпустыря, как небо коварно накаляется багровым светом, точно вдруг открыли гигантскую печную заслонку. От их сгорбленных фигурок, придавленных ношей, вытягиваются тени в виде буквы «П». Толян, которого чуть не переламывает, нерешительно останавливается, Шурка тоже.

Не сговариваясь, они бросают ношу на снег, садятся, съевшись: надо переждать, мало ли что.

Нежно-розовым, как в глубине морской раковины, то вспыхивает, то гаснет бахрома высвеченных облаков. Мальчишки знают: эти вспышки повторяются несколько раз, по количеству опрокидываемых вагонов-ковшей. Днем их можно даже пересчитать. На высоченную насыпь их выталкивает куңций, без тендера, паровозик. Ковши похожи на перевертнутую шляпу Наполеона.

Опрокидываясь, шляпа выбрасывает ослепительно-белый язычок. С каждой секундой язык удлиняется — и вот уже сверкающая лента сверху вниз перепоясала насыпь. Ослепительно-белое становится золотисто-багряным, потом малиновым. В той же последовательности и теми же красками, только тысячекратно увеличенно, вспыхивает, расплывается над городом зарево.

Мальчишки терпеливо ждут.

Вся их жизнь прошла под этими заревами. Они для них так же привычны, как восход дня или смена времен года. Толян, правда, родился в деревне, но в город родители его переехали, когда он начал только ходить. Они поселились в бараке времен строительства комбината, рядом со шлакоотвалом, куда отец, не имея городской специальности, устроился чернорабочим.

Первое время я просыпаюсь ночами в своей деревянной решетчатой кровати от гудков, железного лязга и свиста, от того, что комната внезапно заливают яркий багровый свет.

Я с трепетом наблюдаю, как комната наполняется какими-то таинственными существами — с ногами, с крыльями, с головами в

форме древесных листьев — и воздух от их движения касается моего лица. Они скользят по потолку, стенам, безмолвно приближаются к моей голове... Охваченный неизъяснимым ужасом, я вскакиваю, перелезаю через решетку и бегу к отцу с матерью. Их топчан стоит в противоположном углу.

Я забираюсь, втискиваюсь между ними и там, под их сонными, сплетающимися на мне руками, успокаиваюсь и засыпаю.

Просыпаюсь я утром неизменно за своей решеточкой: полуночные страхи, бегство в родительскую постель вспоминаются как сон.

Железное лязганье, свист пара, отрывистые, как крик ночных птиц, тонкие гудки кранов — ко всему этому я мало-помалу привык, потерпелся, перестал замечать. А вот к огненному, точно багровый дым, всплескам, которые с невыносимым постоянством заполняют нашу комнату, привыкнуть долго не могу.

Особенно после той ночи, когда меня разбудили мужские хриплые голоса, тяжелое шарканье ног и я увидел: трое незнакомых дяденек вносят отца и кладут на топчан, на который мать, ставшая вдруг белой, как стенка, успевает набросить одеяло и сунуть подушку. Кладут как был — в замасленной рабочей куртке и штанах, только на ногах вместо брезентовых стоптанных сапог, в которых отец уходил на смену, намотано какое-то немыслимое тряпье.

Когда мать трясущимися руками пытается дотронуться до тряпья на ногах, он так страшно скрипит зубами, что мать не выдерживает, начинает тихо плакать.

Электричества нет, его часто отключают без всякого предупреждения. Мать зажигает лампу. Приходит доктор. Он явно чем-то недоволен. Вынимает из ящичка блестящий нож и, ругая сквозь зубы тех, кто намотал этого тряпья («невежи, дикари, олухи царя небесного, не миновать заражения...»), начинает резать и отбрасывать его клочьями. Заодно решительно разрезает и кусками вытаскивает из-под отца грязные мазутные штаны и куртку. Штаны по колена в обгоревшей бахроме.

На оголенное, необыкновенно белое тело отца, на постель и халат доктора, загораживающий ноги (там было что-то вздутое, ужасное),

падает свет керосиновой лампы. Вот в окна плеснул багрянец, накалил стены, куцы занавесочки — лампа меркнет, тело отца, подушка, халат сердитого доктора становятся яблочно-розоватыми, а потом цвета растертого кирпича...

Я лежу и с испугом смотрю на все сквозь свою деревянную решеточку.

Утром отца увозят в больницу, откуда он не вернулся...

16

Опрокинут на далеком отвале последний ковш, зарево гаснет, погружая город во тьму, и мальчишки торопливо, обрывая руки о неухватистое, скользкое бревно, взбрасывают его на плечи. Поскорее миновать пустырь, пока небо опять не заполыхало.

Овощехранилище оказалось пастоящим кладом. Да еще так близко, под самым боком. Кто был его хозяин, мальчишки не знали, возможно — железнодорожная станция?

Но хозяин, наверное, все же существовал, потому что в начале этой зимы, сорок второго, окна-отдушины, в которые наметало снегу, оказались заколочены досками, а двери закручены железной толстой проволокой.

Шурка подошел к этому новому и такому щедрому источнику топлива с деловитостью и расчетом Робинзона, обнаружившего на разбитом корабле остатки оружейного запаса и продовольствия.

В следующую же вылазку была проведена ревизия: пересчитаны все стойки. В ряду их оказалось двадцать семь. Рядов — два. Следовательно, всего — пятьдесят четыре штуки.

Обнаружилось: две ближайшие к входу стойки намертво скреплены с потолочной балкой скобами. Вырвать их на двухметровой высоте — нечего и мечтать. Значит, пятьдесят две. Одну они уже взяли, еще одну заберут сегодня, остается ровно пятьдесят.

Эту оставшуюся полусотню Шурка пересчитал дважды, в процессе чего обнаружил — в дальнем углу — такую хилую стойку, что возмутительно. Чуть не вдвое тоньше осталь-

ных. Дистрофик какой-то. Решили: хотя они ее и возьмут, разумеется, но только вне счета, халтуру стройбатовскую. Итого — сорок девять.

Подряд вынимать нельзя, это они отлично понимали, не маленькие. Но если брать, скажем, через две третья, то ничего. Они будут иметь в активе шестнадцать полноценных бревешек. Целый воз, зараза! И все как одно — сосна, прекрасное дерево, жаркое, сухое, под топором колкое, не какой-то там швырок из болонистой осины.

Если расхोждать с умом, экономно, не жадничать, то хватит надолго, может быть даже до весны.

Дотошный Толян напомнил, что сорок девять на три без остатка не делится, как быть с остатком? Шурка задумался лишь на секунду, сказал: остатком считать ту самую дистрофическую стойку, которая так и так ихняя.

На том и порешили.

17

Вечерние под покровом сгущающейся темноты вылазки обеспечивали сносную маскировку, но имели и свой существенный недостаток. Выбивать стойки в крошечной тьме хранилища было тяжело, неподручно. Бумага то и дело гасла, мальчишки суетились и первничали, ибо каждая взятая из дому спичка была на счету.

Однажды они остались совсем без огня, и Шурка так шарахнулся лбом о стойку, что в первое мгновение ему показалось: его чем-то оглушили. Он даже ойкнул «ой, мама!» и упал на четвереньки. В тот раз они так и вернулись ни с чем, если не считать блямбы на Шуркином лбу.

Но главное — стало отчего-то вдруг жутко и трясучка напала. Хватались друг за дружку в темноте, когда гас огонь, как полоумные, даже противно потом было. Мерешилось черт знает что. Кто-то там шевелился, кто-то стоял, спрятавшись за стойками, может, желтенькие? Словом, срунда какая-то, муть собачья.

Решили так: лазить в хранилище по доро-

ге в школу, когда еще светло. Доставали спрятанный под снегом топор и при свете, проникавшем в дверь и многочисленные щели забитых отдушин, выколачивали очередную стойку, зарывали у выхода в снег.

А поздним вечером прибегали и, в промежутках между вспышками заводского зарева, утаскивали ее домой — и конспирация сохранялась, и трястись в темноте от страха не надо.

Словом, все шло как следует до того дня — а наступил уже февраль, последний месяц зимы, — когда мальчишки вдруг обнаружили: в овощехранилище кто-то побывал.

Одна стойка исчезла! Именно та, которую они наметили себе на следующий раз. И взята она была с той же предусмотрительностью и расчетом — через две третья.

Может, они ошиблись, и это их собственная работа? Пересчитали оставшиеся — семь штук. Тогда стали вспоминать, сколько же всего ими взято стоек. У Толяна выходило девять. Девять да плюс семь — шестнадцать, все сходится. У Шурки же всего восемь, одной не хватало.

Так и ушли в сомнениях: девятую сегодня уносят или десятую, зараза...

Спустя неделю они не досчитались сразу двух стоек, по клятвенному уверению Шурки, самых толстых. И опять — через две третья. Этот расчет, копирующий их собственный, больше всего возмутил Шурку. Значит, не случайно заглянувший. Значит, короста, предполагает таскать и впредь!

При внимательном расследовании перед входом были обнаружены чужие следы — небольшого, не взрослого размера.

Тут уж всё, сомнения прочь, их законная монополия нагло нарушена. Так тщательно выверенная Шуркина бухгалтерия давала сбой. Шурка кипел благородным негодованием и жаждой подловить по одному.

18

Ночью высыпал снежок, сухой и морозный, покрыл угольную копоть, и сейчас под слегка задернутым заводской дымкой солнцем блестел так, что слезились глаза. И когда маль-

чишки проскользнули в приоткрытые двери, первую минуту они ничего не видели в полутьме.

Спрятавшись за стойки, запаленно дыша — бежали через весь пустырь, боялись не успеют, — стали терпеливо ждать. Из глубины донеслось глухое деревянное постукивание. Кажется, успели! Теперь только хорошенько приглядеться и не выдать себя раньше времени.

Глаза постепенно привыкли к полумраку хранилища, а там, где между стоек струился дневной свет, было почти светло: кора стен блестела ржавчиной наледи, и полосы нанесенного снега, набившись в пазы, тоже отливали желтизной.

Дыхание унялось, текли минуты, и Толян, весь обращенный в слух, услышал, как над головой слабо треснуло и упал земляной промерзший камушек.

Он поднял взгляд. Грубо ошкуренная туша балки. Слегка провисла. В том месте, где еще недавно подпирали ее стойки. Два пустых выреза ершились мелкими отщепами.

Толян завороченно впился в них глазами — определить, когда появились эти отщепы: давно или только что, с этим треском?

Но все было спокойно, треск не повторялся. Толян шепотом окликнул жавшегося за стойкой другого ряда Шурку, кивком головы показал на потолок. Шурка молча и свирепо погрозил кулаком, запищел:

— Тихо ты! Идут!

В самом деле: из дальнего мрака хранилища, то попадая в освещенные пятна от оконных щелей, то размываясь, тяжело, с сопением двигались двое.

У Толяна даже зубы от волнения стукнули. Он стал торопливо отматывать от ушей очки, прятать в карман шубейки...

Шагавший первым, придерживая на плече конец стойки, левой все пытался запахнуть распахивающиеся полы ватника. Пар от дыхания густо клубился в лучах проникавшего света.

Это был Гошка Мякиш. Мальчишки не встречали его с того времени, как перестали ходить на обледеневший отвал.

Напарнику, горбившемуся сзади, напознала

на глаза шапка, и он то и дело, будто контуженный, встряхивал головой. Толян узнал и его, — один из тех двух хилаков, которые во время драки между кирзаводскими складами уволокли их мешки с углем.

Вот она, расплата, святой акт мести! Двое на двое, вроде силы равны, но Толян и Шурка знали: на их стороне внезапность засады и вдохновляющее чувство собственной территории. Это должно деморализовать противника. Пока очухаются — а их уже отвалтузили!

До чего обнаглели, коросты, кипел Шурка, из-под самого носа наше законное тягачут!

Гошка Мякиш, когда на его пути как из-под земли бесшумно выросли в полумраке два силуэта, вздрогнул и стал медленно приседать — как шел, с сосновой стойкой на плече. Будто у него от испуга отнялись ноги. Стойка свалилась с плеча, а сам он, не удержав равновесия, упал на нее боком.

— Морда луноглазая, попалась? — сказал Шурка и, недолго раздумывая, изо всей силы напощал ему валенком под зад. — Держи того! — скомандовал он Толяну, бдительно следя за скорчившимся на земле Мякишем — он знал его коварство.

Хилак напарник брякнул оземь свой конец ноши и рванул бежать, пытаясь проскочить к выходу. При этом трусливо, омерзительно заорал «а-а-а!», будто его уже били смертным боем. Он ловко вильнул между стоек, увернулся от Толяна, вылетел из хранилища, — и только там замолк, заткнулся.

Толян махнул на него рукой и решил прийти на помощь Шурке. Но тому помощи, как видно, не требовалось.

Гошка Мякиш продолжал лежать в полуобнимку с уроненной стойкой, вяло, инстинктивно прикрывая лицо согнутым локтем — ждал удара. Странно, он не пытался ни бежать, ни даже активно сопротивляться. Совсем не похоже на обычно агрессивного Мякиша!

— А ну подымайся! — Шурка схватил его за концы ворота, с силой дернул вверх. Бить лежачего было несподручно, да и противно как-то.

Мякиш от рывка невольно оказался на ко-

деньх. Тело его было покорным, как мешок. Ватник распахнулся, мелькнул голый под задравшейся рубашкой живот, втянувшийся то ли от холода, то ли от все еще переживаемого испуга.

Шурка уже хотел ему врезать так, на коленках, но Мякин успел перехватить его за пастья своими драными матерчатыми рукавичками, глядел снизу вверх затравленными и какими-то жалкими глазами, бормотал: «Пусти куфайку, падла... пусти куфайку, говорю...»

Кто бы поверил, что этот жалкий сейчас человечинка — гроза всего точилинского района и имеет на своем счету ч е т ы р е п р и в о д а!

Шурка вырвал, высвободил свою правую руку и, распалиясь, видя, что злость уходит, а чувство мести обтаеется неудовлетворенным, с возгласом «долго мне с тобой чикаться!» заехал Мякишу по уху. Слетела шапка. Мякин ойкнул и, зажав варежкой ухо, сел на пятки, скорчился.

Распахнулась дверь в хранилище. Хиляк, который, видать, все же не решился совсем бросить своего товарища, крикнул издали, с порога:

— Не бейте его, у него отца убили!

...Поднялся на ноги и сгорбленно пошел Мякин при полном, оторопелом молчании своих расступившихся врагов. Его латанные валенки, подшитые смерзающимся на морозе брезентом, громко, с присвистом шаркали по земляному крошеву пола.

Шурка хмуро стоял, прижимаясь спиной к стойке, страхивал с рукава неизвестно что. Толян догнал и сунул в руку Мякишу его упавшую шапку.

Тот надвинул ее неловко одной рукой на стриженный затылок — другая, как всегда, была занята полами ватника. Большой, крепко сжатый рот его потянуло в гримасе, но он и на этот раз сдержался, не заплакал.

Пискнула ржавыми петлями дверь. Хлопнула. Ушел. Тишина.

С минуту мальчишки стояли, не двигаясь. Тягостные длились мгновения. Толян поднял глаза на друга. Тот продолжал отряхивать

рукав, будто важнее занятия сейчас не было.

— Ладно, — сказал Толян, — чего там, не переживай. Помнишь, как они нас?

— А я и не думаю, с чего взял! — вызывающе ответил Шурка.

— Конечно, ты же не знал...

— Чего не знал? — щетинился тот.

— Ну, что его отец... что его отца...

Шурку вдруг аж передернуло, лицо мгновенно исказилось невесть откуда накатившей озлобленностью, он крикнул:

— Заткнись, очкарик несчастный, а то и тебе врежу!

— А я-то причем?

— А вот притом!

— Чего орешь-то?

— Ничего! Вали от меня! Падоед! — и Шурка так пнул пяткой валявшуюся у ног, брошенную точилинскими стойку, что та крикнула, покатила. Перепрыгнув ее, он решительно пошел, потом побежал к выходу.

Толян смотрел ему в спину. Он никогда не видел друга таким. Но он знал: Баздыревы вот уже два месяца не получают с фронта писем...

19

Проходя тропинкой в школу, мальчишки увидели: в белой, заснеженной крыше хранилища, одним своим скатом сравнявшейся с косогором, зияет огромная рваная дыра. Елки-молалки, обвал!

Не стовариваясь, они кинулись ко входу, чтобы посмотреть изнутри, в каком же месте это случилось.

Толяну казалось, что сломало ту самую балку, под которой они стояли, карауля точилинских. Шурка, оберегая свой авторитет, утверждал другое: крыша обвалилась именно там, где орудовал со своим напарником Гошка Мякин.

Но увы, дверь в овощехранилище оказалась заколочена. Плотницкими скобами! Четыре косые железные стежки намертво прихватили ее к косяку. Причем, верхняя — рукой не дотянешься. Работа, посильная лишь взрослому. И не раньше как вчера, потому что позавчера они туда еще лезили, и никаких скоб не было, зараза!

Шурка так расстроен был этим новым подлым обстоятельством, что даже не хотел идти в школу на уроки. «Там же еще две наших законных стойки...» — бормотал он, оглядывая со злобой и ненавистью заколоченную скобами дверь.

С такой же ненавистью и осознанием собственного бессилия смотрел он, помнится, на залитую льдом гору террикона.

Бросив портфель на снег, Шурка стал карабкаться, увязая выше колен, сначала на косогор, с него на крышу хранилища.

— Куда, загремишь! — кричал Толян.

— Не, я тихо, по краешку, я только позырю!

Он подполз на четвереньках к провалу, залез в него. Следом подполз Толян.

Они лежали, пока не продрогли, вглядываясь в рассеянную жуткую темень дыры. Расколовшийся от удара пласт мерзлой глины, торчащие из-под него желтыми изломами обрушенные горбыли и плахи крыши; смрадный дух подземелья, ощущавшийся здесь, над дырой, почему-то резче, чем в самом хранилище.

Один из горбылей, свесившихся под углом вниз, концом почти касался островерхой груды ссыпавшегося через провал снега. Шурка повернулся ногами к провалу, попинал за чем-то сучковатый горбыль валенком...

20

После школы, сделав все хозяйственные по дому дела, Толян спустился на нижний этаж к Баздыревым. Тетя Гая была во вторую смену. Шурки тоже не оказалось, куда он успел удуть — Нюска объяснить не могла, не знала.

Она сидела поверх одеяла на железной кровати, толсто одетая в пальтишко, перетянутая, как кукла, крест-накрест неумело шалью, в валенках и рукавичках. Держала в растопыренных руках игрушку — на двух палочках деревянные фигурки мужика-дровосека и медведя. Подвигаешь палочки туда-сюда, и фигурки начнут колотить попеременно топориками по пню, как бы дрова рубить.

Время от времени личико ее начинало натушно краснеть, она заходилась в тяжелом,

продолжительном приступе кашля. После чего, почмокав губками, как ни в чем не бывало возобновляла прерванное занятие.

Посреди комнаты на табурете, на двух кирпичках калилась малиновой спиралью присоединенная прямо к патрону электроплитка — помогала теплом мало.

Толян присел перед Нюской на корточки, спросил деловито:

— Нюска, а Нюска, ты чего так оделась, за сном ехать собралась?

Эту шутку, позаимствованную им у своей бабушки Натальи Демидовны, он задавал девочке всякий раз, и та всякий раз серьезно отвечала:

— Меня Шуик одел, сама я никак. — И нежное облачко дыхания отлетало от ее тугих, как бы перетянутых ниточками, полненьких губ.

И на этот раз она ответила так же и, наклонив лобик, сосредоточенно зашмыгала пальчиками. Дровосек и медведь уныло, безрезультатно замахали топориками.

Кровать со сползшим до самого полу одеялом была придвинута к стене, которая от кухонной печи нагревалась, но печь, видать, давно погасла. Толян потрогал ладонью стеску — чуть теплая.

Жестяная помятая углярка на кухне стояла пустая. Гортоп давно уже не отоваривал талонов. Тете Гале как жене фронтовика с великими сложностями выписали двести килограммов угля с депоовского склада, по делу само вдруг село на аварийный запас, и там сказали: выдадим, когда пополнимся; а когда они пополнятся? Может, через неделю, а то и две... Это — уголь, а дрова — и говорить нечего. Их не было и на складе депо: загашенные на время ремонта паровозы растапливали старыми шпалами.

Девочка зашлась в безудержном кашле.

— Нюска, — сказал Толян, дожидая пока она успокоится, — хочешь к нам в гости, к бабушке?

— Хочу-у! — протянула девочка и бросила игрушку, зашевелилась в попытке сползти на пол.

Она знала: в гостях ее обязательно разделают, освободят от этой колючей толстой ша-

ли, которая так мешает кашлять, снимут пальтишко и варежки. Там не надо сидеть в одиночестве, скованной запретами: туда не лезь, этого не трогай, к плитке — ни боже мой, а на горшок захочешь — терпи, жди Шурика или маму, а в застывшие окна ничего не видеть, и когда эта противная зима кончится?..

— Бабушка, — крикнул с порога Толян, — пусть Нюска у нас побудет, у них дома никого и холодрыга, как на улице.

Наталья Демидовна, выглянув из кухни и увидев у порога маленькую гостью, заторопилась к ней, стуча о пол табуреткой.

— Конечно, пусть. Конечно. — Она подсунула под себя табуретку, села, принялась развязывать на девочке узел. — У нас тоже не жарко, но снять все эти хламиды можно. На тебе теплые штаники есть? (девочка закивала: есть, есть). Вот и ладно, оставим. И валеночки оставим. Так вот. А остальное долой. Кто тебя так укутал, неужто мама?

— Нет, Шуик, — сказала девочка.

— Ах он, Шурик, нехороший мальчик, — шутиливо приговаривала бабушка, поворачивая Нюску и освобождая от лишних одежек. — Разве можно так маленькую девочку укутывать...

— Нет, он хо-оший.

— Хороший? Ну конечно, хороший, кто же говорит, что нет. Мамкину кофту тоже долой.

— И я хо-ошая.

— И ты, кто сомневается. Ты лучше всех. Чем это он тебя подпоясал? Ах, скакалкой... А почему ты хорошая?

— Ма-енька я и не па-ачу.

— Вот и умница, что не плачешь. А зачем плакать. Плакать — это нам с тобой последнее дело...

Нюска потрогала пальчиком ее перевязанную полотенцами ногу, сказала:

— И ты не па-ачешь.

— Нет, как видишь, я же большая.

— А вот мама бо-осая, а па-ачет.

— Мама? — Наталья Демидовна озадаченно посмотрела на девочку, потом, передав

стоявшему у порога Толяну пальтишко, чтобы повесить, спросила: — А... почему она плачет?

— Ругает Шуика и па-ачет.

— За что ругает?

Нюска приподняла остренькие плечики — не знаю, мол, — и тут увидела в дверях комнаты кота. Кот, встав на задние лапы и вытянувшись, драл когтями косяк. Легкая и радостная побежала к нему, запрыгала: «Басик, Басик!»

— Ладно, я пошел, — буркнул Толян.

— Долго не пропадай, за уроки-то еще, поди, не сядил, — сказала вслед бабушка и вздохнула чему-то.

21

Во дворе никого из ребят не было, но за уцелевшими еще сараями и стайками, в той стороне, где помойка, Толян увидел Кузю Шишигина. Он прошел за лари. Кузя держал за руль самокат, к которому вместо колес были приделаны коньки-снегурки. Самокат Шурки Баздырева. Тот сколотил его из двух дощечек еще прошлым летом, и они с Толяном здорово катались на нем поздней осенью по льду шахтных провалов, пока там не занесло снегом.

Во дворе кататься негде, одни грязные снежные кочки, а здесь, вокруг помойки, растекшаяся мутная вода образовала грубую морщинистую корку, с вмерзшей картофельной кожурой, кусками плака, бутылочными стеклами. По ней-то и пытался, неуклюже лавируя, кататься незадачливый Кузя.

— Шурка где, не знаешь? — спросил Толян.

— Не-е, не знаю! Недавно тут был. — Кузя сусливо оттапливался одной ногой, чуть не падал, наезжая на препятствия, и при этом пыхтел, как паровозная сцепка. — Хошь прокатиться?

— Чего это ты чужим распоряжаешься?

— А он теперь мой.

— Как это — твой?

— А вот так, обыкновенно!

— Насовсем, что ли?

— А ты думал?

Толян озадаченно помолчал, что-то тут было не то. Не мог Шурка вот так, за здорово живешь, отдать самокат этому чесуну, у которого сестра каким-то там начальником; у него, у Шурки, и получше друзья есть...

— Чесун несчастный, — сказал он на всякий случай.

Кузя вильнул, самокат съехал со льда, ткнулся в снег, Кузя упал.

— Сам ты чесун! Если хочешь знать, мы с ним четыре охапки дров из нашей стайки к ним перетасили, понял?

— Четыре? — переспросил Толян. — Шкура ты, Шишига. Такой самокат десять твоих несчастных охапок стоит.

— Ага, десять, обзарился! Десять мать сразу узырит и такую кричалку устроит.

Это уж точно, подумал Толян.

Мать Кузи, Полина Гавриловна, была самая, пожалуй, скандальная женщина во всем их доме. Она нигде не работала, была обременена большим семейством — четырьмя своими детьми и двумя приемными — своего покойного брата. Держались многочисленные Шишигины (по-дворовому: Шишиги) лишь на старшей сестре — начальнике мелкосортного цеха комбината, назначенной на эту должность в первые дни войны. Когда Полина Гавриловна говорила (особенно, когда кричала), рот ее уползал косо в сторону, за что она получила прозвище Косоротиха. Мальчишки двора ее побаивались, с Кузей и другими мелкими Шишигами старались не связываться, знали: свяжешься — кричалка обеспечена.

Кузя озабоченно склонился над самокатом.

— Один-то конек подломап, — сказал он.

— Будешь по помойкам гонять — и второй подломаешь.

— Не бойсь! — сказал Кузя. — А мы вчера с сеструхой у заводоуправления были, на площади, — вдруг вспомнил он.

— Ну и что?

— Ты разве еще не знаешь? — Кузя бросил самокат и с раскрасневшимся от катанья лицом подбежал к Толяну. — Там танки немецкие выставили, с крестами! Пушки! Одна даже зенитная!

— Вот трёкало, — не поверил Толян. — Как это — выставили?

— А вот так, обыкновенно. Чтоб все смотрели. И лазить в середку можно, сколько влезет!

— И ты лазил?

— А ты думал! И крутить чего хочешь. Огольцы на пушку верхом рассядутся, а ты колесико такое, с зубками, за ручку покрутишь — башня — р-р-р — поехала!

— И ты крутил?

— Дурак, я сидел!

— И не гоняют?

— Да говорю тебе — смотреть выставили, как наши ихних там колошматят, специально, понял? В одном — вот такая дырень от нашего снаряда. А воняет там, в этих танках, как в уборной, честное пионерское! — радостно, что первым доносит Толяну эту волнующую новость, кричал он, хотя они стояли рядом, и размахивал руками.

По всей видимости, Кузя сегодня говорил правду — так достоверно врать он не умел. Эта вторая его новость, насчет танков возле заводоуправления, заслуживала внимания не меньше, чем первая. Но куда все же подевался Шурка?

Он уже хотел вернутся домой — противно было смотреть на счастливого своим приобретением Кузю и тем, что ему первому из мальчишек двора удалось посидеть на немецком танке, — хотел вернуться, но наконец увидел Шурку.

Тот вывернулся из-за дальнего угла дома, пальто по самые плечи в снегу, уши матерчатой шапки с узловатыми завязками вздыблены, пуговица висит на нитке, кувыркнулся откуда, что ли?

— Ты чего? — удивленно спросил его Толян.

— А чего?.. — будто не понял тот.

— Куда носился-то? Нюска у нас сидит.

— Ладно, хорошо, пусть посидит. Погода заберу. — Шурка заговорщицки оглядел двор, однако даже пустынность его не показалась ему надежной, он бросил коротко: — Айда к нам. — Но не выдержал и уже в подъезде зашептал, сбивая с себя на ходу снятой шубинкой снег: — Я сперва и так и сяк, и но-

гами его, и всяко, а он качнется — и концом обратно вверх. Зараза! Горбыль этот. Ладно, думаю, начну когда спускаться, ляжет как миленький. До половины уже сполз, все брюхо по сучьям ободрал, а сверху глыба снега мне по горбушке ка-ак...

— Погоди, ты чего, — Толян приостановился даже, — в хранилище лазил?

— Ну, законно!

— Через провал?

— Тише, чего орешь! А через чего же еще! Да это просто, оказывается, ты не думай. Правда, жуть там одному, аж в брюхе щекотит... Я постоял и по горбылю обратно. А если двое да прихватить с собой веревку... Соображаешь?

Дома он сразу же, как был — в пальто и шапке — сел чистить картошку, сказав, что пока Нюски нет, надо все приготовить для супа и поставить на плитку, пусть бьются, а потом, ближе к ночи, к тому времени, когда мать со смены придет, растопить печь.

— Шишигинскими дровами, что ли? — съязвил Толян — невысказанная обида за самокат еще не прошла.

— Ага. Кузя болтанул?

— Кто же еще?

— А ведь железно предупредил — никому. Ну гад ползучий, самому же — чуть чего — хуже будет.

Толян прошел в комнату, подобрал Нюскину игрушку, потянул за палочки. Глупые фигурки покорно вскинули деревянные топоры.

— Кузя болтает: на площади возле заводоуправления танки немецкие выставили, — сказал он. — Расколомаченные.

Шурка плюхнул картофелину в кастрюлю, коротко отозвался:

— Знаю.

Толян удивленно повернул голову:

— И молчал?

— Да я тоже сёдня узнал, от Шишиги же.

— Ну и чего? Сбегать бы.

— Законно, — согласился Шурка. — После-завтра, а?

— Чего это — послезавтра?

Шурка на кухне помолчал.

— Завтра найдется дело поважнее, — сказал он.

— Какое еще дело? — недовольно переспросил Толян, хотя прекрасно понял, что именно имеет в виду Шурка.

— Такое, немазано сухое, — буркнул тот, сгорбившись над кастрюлей. Он чувствовал: Толян снова напрашивается на ссору, и не хотел ее.

Помолчали. Игрушка, которую Толян держал в руках, чем-то раздражала его, но он продолжал машинально дергать палочки: дровосек и глупый медведь наперегонки колотили по пню, и была в их однообразных движениях какая-то обреченность.

— Ладно, — сказал Шурка, — ты наверху посидишь, а я спущусь. Одному-то мне как вытащить?

— Ис хочу сидеть! Не буду! Попадемся!

— Не попадемся.

— Попадемся.

— Кому — балда?

— Не знаю. Кто дверь скобами заколотил.

— А кто заколотил?

— Я почему знаю!

Шурка запустил руку в воду, посчитал картофелины — было еще мало, сказал:

— Ты же наверху будешь, чуть чего — крикнешь, смоемся в рощу.

— Не смоемся, попадемся!

— Задолдонил одно! — сказал Шурка. — Ну хочешь — поклянусь. Возьмем две законных своих — и все, баста. Больше туда ни ногой. Гадом буду. У меня новый план есть.

— Надоели твои планы, — крикнул Толян. — Лезь один, понял?

Лицо у Шурки приняло вдруг озлобленное выражение, медленно, сквозь зубы он произнес:

— Конечно, зачем тебе лазить. Вам наверху хорошо жить, у вас тепло. Нашим снизу подогревается.

Толян от такого наглого обвинения аж задохнулся.

— Это мы-то — вашим?

— Вы-то! Самые! — мстительно усмехнулся Шурка, но глаз от ножа и картошки не оторвал.

— Да у вас вечная холодрыга! Волков мо-

розить!.. А если... если ты один полезешь,— крикнул Толян,— я тебе Гале скажу, куда ты хочешь лезть, так и знай! — И швырнув на кровать дурацкую игрушку, он побежал к дверям.

Шурка, уронив в кастрюлю нож и недочищенную картофелину, метнулся за ним, успев схватить за шиворот, рванул, притиснул к стене.

— Только попробуй! — зашипел он в самое лицо.— Я тебе, очкарик, все очки расколосмачу...

— И попробую! Не указывать!

— Ах, так...

22

И не миновать бы им жестокой потасовки, бессмысленно нанесенных взаимных обид, но здесь случилось совсем уж непредвиденное.

За дверями, на лестничной площадке, раздалось какое-то грохотанье, будто что-то волокли по ступеням, высокие голоса — дверь в квартиру Баздыревых распахнулась.

На пороге стояла женщина — мешковатое клетчатое полупальто, голова по самые щеки в тугом платке, а поверх платка меховая шапка. В одной руке она тащила за руль, как нашкодившего щенка за ухо, Шуркин самокат, а другой — держала крепко за руку упавшегося несчастного Кузю.

Это была мать Кузи — Полина Гавриловна, Косоротиха!

Мальчишки враз, как по сигналу, опустили руки, ошеломленно отступили друг от друга, понявшись, сразу оценив серьезность возникшей ситуации. Они также поняли: одной кричалкой дело не обойдется, тут пахнет большим. Подлый Кузя!

— Мать дома? — Полина Гавриловна крепко пристукнула самокатом о пол, тяжело, с присвистом дышала.

Шурка молча, набыченно помотал головой: нету.

И тут же рот ее вместе со щекой пополз на сторону, под самый платок, она закричала, будто через улицу:

— Открываю стайку и глазам не верю: дровяная обресь-то — усохла. Утром еще на-

бирала. А замок целый. И стоит вот эта... рогатина! — Полина Гавриловна снова энергично брякнула самокатом, оглянулась и так дернула Кузю за рукав, что с того чуть не слетела шапка, он заскулил на всякий случай, она спросила его тем же пронзительным голосом: — Ты выискивал эту обресь? Ты город выбегивал? Очередь на дозовские склады отстаивал? За подводу последние рубли выкладывал? Я кого спрашиваю, стервец такой? Отец на фронте голову кладет, а ты тут наши с сестрой труды на игрушки размениваешь! Подворачиваются тебе, простодырому, всякие пронырлы, дурют тебя как могут, а ты рад... у, оболтус на мою голову! Все дети как дети, а этот — наказание. погоди, сестра вечером придет — еще не то всыплет. А ты, Баздырев,— повернулась она к Шурке,— забирай свою рогатину и вертай обресь назад, всю до щепочки, не то заявлю куда следует!

Шурка отступил к кухонной двери, буркнул вызывающе:

— Пету у меня никакой обреси!

— Как это — пету?

— А вот так — пету и все. Сгорела.

Полина Гавриловна решительно отстранила Шурку с пути, прошла на кухню. Пустая углерка, пустой, заставленный посудой припечек, холодная, явно нетопленная сегодня плита.

— Врешь, куда занятал? Где-нить в снегу закопал? — Она знала, что Баздыревы давно порубили свой ларь на дрова.— Ну, я и под землей найду, всех на ноги подыму. Я свою обресь с закрытыми глазами узнаю! Куда вапнятал?

— Никуда я не прятал!

— Нет, спрятал! Меня не проведешь. Ей-бо, заявлю.

— Заявляйте, сколько хотите. Испугали!

— А конек-то у самоката сломанный, а был целый,— подал голос Толян, на которого вся эта сцена произвела самое мрачное впечатление: ну и везет Шурке! И сейчас хотелось хоть как-то устать Кузю за его трусливое предательство: раз выменял и попался, так хоть молчи — у кого!

— Неправда, он такой и был! — прервав нытьё, выкрикнул Кузя, однако на его жалкий

выкрик никто не обратил внимания, даже Полина Гавриловна, которая сказала:

— Тогда так — я вот сяду тут и буду ждать матери. Я правды добьюсь, не то нынче время.

С этими словами она в самом деле подтащила скамейку на середину кухни (кастрюля с картошкой при этом чуть не упала, вода плеснула на пол), села и распустила под подбородком узел платка, как бы подтверждая этим жестом серьезность своего намерения.

Это был верно рассчитанный шаг, от которого Шурка сник, растерялся. Не хватало, чтобы она действительно досидела до прихода матери со смены и еще ей, усталой и, как всегда, раздраженной от усталости, устроила кричалку.

Минут пять протекло при всеобщем напряженном молчании. Лишь слабо дохлипывал под входной дверью свос, заработанное, Кузя.

Шурка нервничал, кусал ноготь, ища выход из создавшейся, весьма чреватой последствиями ситуации.

И тут произошло совсем уж такое, чего не мог ожидать ни Шурка, ни Толян, ни тем более Кузя, лучше других знавший свою вечно крикливую, заполошную по всякому поводу мать.

Полина Гавриловна заплакала.

Причем, как-то незаметно, без голоса — только глазами и некрасивым своим скособоченным ртом. Она будто забыла про затихших в своих углах мальчишек, про дело, которое привело ее сюда, в эту чужую холодную кухню с пустой угляркой.

Сидела, ссутулившись клетчатой спиной. Слезы кривыми блестящими дорожками скользили по ее уже немолодому курносому поблекшему лицу.

— Господи, — тихо, самой себе сказала она и стала сморкаться, — да когда же эта клятая война кончится. Когда же я смогу сдохнуть от всех спокойно...

Шурка засопел, оттолкнулся от косяка, где до этого стоял в позе человека, с которого взятки гладки, шагнул в комнату. Опустившись перед кроватью на четвереньки и откинув спущенное низко одеяло, принялся решительно, зло выбрасывать оттуда с грохо-

том обрезки плах, досок, короткие струганные бруски, клинья, — словом ту самую, честно вымененную у глупого Кузи обрезь.

Толян во все глаза глядел, как друг выгребает спрятанное под кроватью, подумал, что ему, Толяну, никогда бы не пришла в голову подобная предусмотрительность. И с таким другом он поссорился!

— Забирайте свои дерьмовые обрезки! — фырчал Шурка. — Не было дров, и это не дрова. А ты, Шишига, за сломанный конек ответишь!..

Толян видел прекрасно: Шурка конечно же покривил душой, назвав дрова дерьмовыми обрезками. Дрова были законные — сухие, и колоть почти не надо, — но ведь переступить через свою обиду (а Шурка переступил, сделка-то была добровольная) — разве это не стоит какой-то пары слов, сказанных в сердцах, от души?..

...Назавтра, нагнав по дороге в школу Шурку, — тот впервые, кажется, ушел без него, один, — Толян сказал примиренно:

— Слышь, чего там, давай слазим. Только чур — последний раз, как обещал, — добавил он тут же.

— Куда? — как бы не понял, спросил Шурка хмуро.

— Забыл, что ли? В хранилище.

— Не забыл.

— Ну вот. У нас дома и веревка есть — длинная. Я уже припрятал.

Шурка шел не оглядываясь, вчерашняя ссора, видать, еще крепко сидела в нем.

Несколько времени шагали молчком, Шурка впереди, Толян чуть поотстав. Тропинка нырнула в рощу. По макушкам берез прыгали с противным карканьем вороны, осыпая снежную сверкающую пыльцу.

— Одному тебе через дыру знаешь как кожиться придется? — заметил Толян.

— Я с Анютой Курочкиной договорился. Она поможет.

— С девчонкой? — Толян был уязвлен.

— Ничо, как-нибудь. Силенок у нее поменьше, зато не из трусливых, как некоторые. И не сбежит, чуть чего...

К овощехранилищу все трое подошли гуськом, последней шла Анюта, с муфтой на шее, тащила за собой санки, которые должны были маскировать их предпрятие: кататься отпразднелись, чего такого!?

Было солнечно и морозно, ветрено. Крошки угольной гари катились по глади снега, скапливаясь в ямках и бороздах, в лунках торчащих бодыльев, отчего снежный пустырь имел вид плохо постиранной холстины.

Над рощей с бранчливым гвалтом вскидывались, точно горсть камешков, вороны стаи, это был верный признак того, что зиме приходит конец.

К провалу подползли на четвереньках, по старому, ими же накануне оставленному следу. Заглянули в темную, мрачную глубину. Хаос земляных и снежных комьев, торчащих сломанных концов, повисшие, как волосы утопленниц, бурьянные смерзшиеся стебли.

— Ой, мальчики, умру, — с тихим восторгом страха пропела Анюта пятясь. Толян же, заглянув, небрежно плюнул туда, но губы на ветру замерзли, плевка не получилось. Он смущенно вытерся рукавом.

Шурка действовал как человек, уже проделавший этот путь, — деловито и споро, с четким знанием каждого своего шага. Прежде всего он бросил вниз топор, и топор мягко, бесшумно воткнулся в снеговой конус. Потом опустил ноги в дыру, нащупал на склоненном горбыле торчащий сучок, стал сползать вниз.

Голова в шапке с задранными, смешно качающимися враз ушами скрылась. Последнее, что видел Толян, это его цепляющуюся руку, голое красное запястье между рукавом и шубинкой, но вот и рука исчезла.

Толян подполз ближе. Шурка был уже внизу, стоял, вытаскивал увязший топор. Глянул вверх, махнул: ждите, как договорились, да смотрите в оба!

Все-таки им повезло — на ихнем скате крыши был затишек, ветер вихрил только гребень, не то бы они с Анютой быстрок околели.

Они лежат на боку, скорчившись (вставать в рост нельзя, вдруг увидят?), лицом друг к другу, но так, чтобы не выпускать из виду

тропу. Анюта, спрятав руки в облезлую свою муфту, а Толян — в собственные подмышки. Головы их почти касаются. Странно, Анюта телом худая, как балалайка, ноги даже в стеганых чулках тонкие, а лицо при всем том — кругленькое, с тугими и как бы припухшими бровками, и вблизи нежное и чистое, точно молочная пенка. А вокруг зрачков колечко золотистых крапинок — чудно!

Снизу послышались глухие медленные удары. Это Шурка усиленно выбивал стойку. На слух трудновато понять, в каком углу он орудует. Наверное, все-таки справа, это дальше от входа, там еще оставались стойки из тех, давно намеченных.

Пар от их дыхания смешивается, и на ресницах у Анюты в солнечном луче вспыхивают кристаллики изморози. Они с матерью эвакуировались из Макеевки, в самый последний день, под обстрелом, почти ничего не прихватив из вещей, хотя жили хорошо, отец Анюты был шахтер, и Анюта имела даже свой велосипед, с фарой и динамо-машиной на колесе. Этот за так брошенный велосипед пуще всего поражал мальчишечье воображение. Как можно было бросить такую вещь — велосипед, которого у них во всем дворе ни у кого не было! Теперь на нем там наверняка ездит какой-нибудь выпивый фриц и светит фарой, гад рыжий.

Анюта повидала мир — купалась с родителями в Азовском море, плавала на настоящем пароходе, была даже один раз в Москве, в зоопарке, наконец проехала с эшелонном беженцев полстраны, видела разорванного бомбой человека, чуть не сгорела в хлебах, куда они с матерью спрятались от бомбежки, — словом, в свои тринадцать лет узнала много такого, чего Толяну с Шуркой не снилось. Однако задаваться она не умела, охотно откликалась на просьбы, была необходима. Стойко на удивление переносила морозы, не болела вроде ни разу, хотя одежду ее просвистывало, должно быть, насквозь. Толян даже не думал, что у девчонок могут быть такие глаза, главное — такие золотистые в глазах колечки...

— Ты чего смотришь? — вдруг спросила Анюта, и бугорки бровей ее вопросительно сдвинулись.

Толян смутился.

— Ничего я не смотрю, с чего взяла?

— Нет, смотришь, я вот не смотрю, а вижу, что ты смотришь.

— Руки чего-то защищало.

— А ты совай в мою муфту, тут места хватит.

— Еще чего...

— Пу и мерзни, волчий хвост. — Девочка подняла голову, насторожилась. — Ой, кажется, Шурик там...

Толян подкарабкался на четвереньках к дыре, заглянул.

— Вы чо там, оглохли? Кричу, кричу... — задрав покрасневшее от работы лицо, ругался внизу Шурка. — Давай кидай веревку скорее...

О веревке Толян совсем забыл: торопливо расстегнул на груди шубейку, вытащил моток бельевого шнура, стал разматывать. Шнур как назло путался, сбивался в ком, так что пришлось снимать рукавички.

— Быстрее там, чего телишься? — неся из дыры злой, нетерпеливый голос. — Не мог раньше приготовить?..

— Запуталось тут... — бормотал Толян, шевеля плохо гнущимися, заочневшими пальцами.

Но здесь на помощь пришла Аня. Она быстро, сноровисто раздергала клубок, расправила шнур, и они один конец бросили в дыру.

Шурка крепко привязал за головку стойки, скомандовал: «Пошел! Тяни!» Сам сколько мог помогал снизу.

Толян и Аня, стоя на коленях, дружно потащили. Сталкиваясь плечами и руками, перехватывая выскальзывающий, сразу залипший снегом шнур, они отчаянными рывками выволокли стойку вверх. Потом по уклону крыши скатили вниз, засыпали, запинали снегом.

Им сразу стало тепло, даже жарко. У Толяна замутнели очки, и от напряжения мышц все внутри тряслось целую минуту.

Он вернулся к дыре, чтобы сказать Шурке — все в порядке, шито-крыто, но того уже внизу не было. Слышался снова стук, теперь как будто с другого конца хранилища, со стороны входа. Почему со стороны входа? Или

всему виной подземное эхо?.. Схлынуло возбуждение, и Толян ощутил, как горят обожженные шнуром ладони. В суете он забыл надеть рукавички.

Сейчас-он не стал отползать далеко от дыры, чтобы Шурка не ругался. Перед Аней неудобно, и вообще. Все-таки он чувствовал некоторую неловкость, что торчит здесь, наверху, вместе с девчонкой, как какой-нибудь сачок, а Шурка один мордуется там, в полутьме хранилища, один подтаскивает почти двухметровую лесину к дыре.

Аня с порозовевшими щеками, дыша, прилегла чуть ниже, довольная тем, что участвует в таком важном предприятии, и не без ощутимой пользы — мальчишки должны оценить.

На этот раз Шурка возился что-то очень долго. Размеренные удары, которые то прерывались, то вдруг возникали вновь, отдавали в душе Толяна все большей тревогой. Тропа через пустырь и рошу пока удачно пустовала, но не может же она пустовать бесконечно — кому-то же понадобится пойти! И тогда им с Аней придется как-то изворачиваться, изображать катание на санках, что ли, что само по себе здесь, на пустыре, выглядело бы глупо.

Но вот в глубине наконец раздался шум, пыхтение и показалась из полумрака Шуркина скрюченная фигурка, волокущая стойку.

— Ты чего сам-то там телишься, побыстрее не можешь, что ли? — опустив голову в дыру, упрекнул его Толян.

— Не выбивается, зараза, — сказал Шурка, тяжело дыша, присаживаясь на земляной пол. — Сперва так как спички падали, а сейчас приходится лупить, аж в кишках трещит.

— Ты разве в том конце берешь?

— Ага. А чего?

— Да слышно — как бы в этом, у входа.

— Нет, в дальнем.

— Темно там?

— Да уже вроде присмотрелся.

Наверх эту вторую стойку они подняли так же успешно, как и первую, только вот узел на веревке затянулся — не развязать, и Толян решил закидать стойку снегом вместе с веревкой, все равно сегодня больше не понадобится. Но Шурка думал иначе.

— Давайте развязывайте, — крикнул он, — я еще выколочу.

— Мы же собирались две!

— Отскожь! Нам с тобой надо, а Аняте не надо, да? И потом...

— ...И потом у вас не жрет, а у нас жрет, — тем же тоном закончил за него Толян, которому почему-то захотелось при Аняте быть остроумным, находчивым.

Шурка внизу неожиданно рассмеялся:

— Верно, зараза! Так отвязывайте в темпе, а я еще за одной.

Узел затянулся мертвую. Не поддается, хоть плачь. Заледенел. Толян вцепился в него зубами, но и зубы не помогли, только заныли от холода.

Он оглянулся на Аняту.

— Может, ты?

Анята с готовностью сняла рукавички, сунула их в муфту, присела над бревном. Тонкими пальчиками с круглыми чистыми ноготками стала ципать узел.

— Да нет, зубами!

Она нерешительно склонилась, куснула раз, другой, выпрямилась.

— Нет, тоже никак.

— Дай-ка тогда я еще попробую, — сказал Толян, отстраняя девочку, и вдруг увидел на обмусоленном веревочном узле кровь.

— У тебя чего, зубы болят? — с удивлением спросил он.

— Это дёсны, — смутилась Анята.

— Значит, у тебя цинга, — сказал Толян авторитетно. — При цинге всегда из десен кровь. Витаминов не хватает.

Анята вытянула шею, проговорила с беспокойством:

— Опять Шурика не услышим.

— Счас, погоди. — Он еще раз приложился к узлу зубами, но тщетно. — А, черт с ним, у Шурки же топор, возьмем перерубим — и все дела.

Они завалили бревно вместе с веревкой снегом, вскарабкались по скату и легли на живот, заглядывая в мрачный, рваный зев дыры, вслушиваясь: там стучало.

— Доживем до весны, — сказал Толян, — начнется в нашей тайге колба — она самая

первая начинается, — мы с Шуркой тебе целую охапку притащим, ешь сколько влезет.

Анята промолчала.

— Ты ела колбу?

— Нет. — Девочка покачала головой.

— Никогда, что ли, не ела?

— Нет, никогда.

— Ёлки-моталки, такой дикий чеснок! От цинги верное средство. Совсем тут недалеко, на пригородном четыре остановки.

Девочка вздохнула, прилегла щекой на муфту. Прядка волос выбилась ей на бровь.

— А мама говорит: кто эту зиму переживет, тот и войну переживет.

— Ну — мы-то переживем, — сказал Толян. — Это вот — на фронте которые... — Он поглядел внимательно в сторону рощи, на тропе между деревьями что-то мелькало. — Идет кто вроде, что ли?

— Да это вороны прыгают, — сказала Анята и дунула, сделав губу ковшичком, чтобы сдуть прядку.

— Вам отец пишет? — спросил Толян. Ему при этом ужасно хотелось помочь ей справиться с прядкой.

— Нет. Он у нас пропал без вести. — Девочка высвободила руку, стала засовывать волосы под шапку. — Но это неправильно.

— Что неправильно?

— Что пишут: пропал без вести. Пропал — значит, погиб, умер, нету больше на свете, так?

— Ну, так. А... как надо?

— Надо: потерялся. Это большая разница. Вот мой папа — потерялся, понятно?

Толян с уважением покосился на девочку. Он впервые слышал от своей ровесницы такие разумные, взрослые речи...

24

...Приглушенный хряск тяжело, как бы нехотя ломающегося дерева, глухой обвальный удар, — из дыры мягко пахнуло в лица застойной промозглостью, будто из гнилого рта дунуло.

Ребята ошеломленно приподнялись.

— Шурка! — крикнул Толян, ложась снова грудью на затоптанный, истолченный их ногами край провала.

Заструился вниз, в пустоту, с тихим шипением ручеек сухого, пережженного морозом снежного песка.

— Что? — быстро, испуганно спросила Аня. — Что там?

— Шурка-а! — снова крикнул он в эту ставшую вдруг ужасающе, неправдоподобно безмолвной пустоту.

Снова никакого ответа.

Перехватив ее тревожно-недоумевающий взгляд, он, не зная что сказать, боясь сказать, суетливо повернулся ногами к дыре, нащупал носком, как это делал Шурка, сучкастый, косо уходящий вниз горбыль, пробормотал сбивчиво:

— Сиди тут, я это... я сейчас...

Пока глаза его с яркого солнечного света не обвыкли в полумраке, он раза два нагнулся на стойки вытянутыми перед собой ладонями.

Все было неузнаваемо, враждебно. Наметенный снег, натоптанные белые следы на черной земле... Впереди слабо, нереально струилось косое пятно света. Откуда свет? Этот угол всегда тонул в зыбкой темени — даже редкие щели отдушин были здесь забиты, залеплены снаружи снегом.

Продвигаясь вперед, он все порывался крикнуть, позвать Шурку, но страх не услышать вновь ответа перехватывал горло, сбивал дыхание.

Проклятые очки, почему-то всегда мутнеют в самый неподходящий момент. Нет, это не очки, это оседает на лицо взвихренная, мелкая, как порох, изморозь.

Он замер, оцепенел.

Там, куда упирался косой столб света, щедро лившийся почти в полширины крыши, громозилась гора чего-то дикого, бесформенного. Мешанина смерзшейся земли, кусков грязного, залипшего прошлогодней травой льда и спрессованного снега, обломки расщепленного дерева.

— Шурка! — слабо позвал он.

Прошуршала мелкая осыпь, скрипнула какая-то перекладина.

Сначала он увидел валяющуюся шапку. Эта с задранными ушами и узловатыми завязками шапка приковала его. Только долгое мгнове-

ние спустя, цепенея глазами, увидел он Шурку; увидел прощитую корнями трав глыбу чернозема, которая угрюмо и равнодушно поскверкивала на изломе ледяными блестками...

Всклипывая от усилий, он ухватился обеими руками за изломистый край пласта. Он не смотрел на Шурку, на его неестественно повернутое щекой кверху лицо, все сплошь в крупных каплях запорошившего и растаявшего снега, на слабо пузырящуюся в углах рта кровь.

Пальцы его скользнули, оборвались. Он с ужасом ощутил тупую, каменную неподъемность глыбы.

Эти мгновения бессилия и осознания ничтожности своих сил перед тупой силой равнодушия потрясут меня, проникнут в плоть и кровь, станут многие последующие годы питать кошмары моих снов, превратятся в болезнь памяти... Не раз потом, столкнувшись со сложностью какой-нибудь жизненной проблемы, я малодушно отступлю, охваченный смятением, как бы заранее смиряясь с ее неподъемностью. И сколько же уйдет душевных сил и времени на то, чтобы избавиться от этой тяжелой, изнурительной, никакими врачами не определимой болезни...

Плача бежал я по бесконечному мраку хранилища, пока не ударился о наглухо заколоченные снаружи двери, болезненно вскрикнул. Очки хрустнули, переломившись в переноске, упали.

Я иступленно, уже не соображая ничего, ничего не видя, стал колотиться в двери, что-то кричать при этом, давясь от слез, и вдруг все померкло...

А наверху, стоя коленками на заснеженном краю провала с нелепо болтающейся на шее муфтой, Аня, уже догадываясь о беде и не веря в нее, звала вниз, в пустоту:

— Мальчики, миленькие, что случилось?!. Мальчики, миленькие, что?!.

25

Несколько дней провалился Толян дома в постели с сильнейшим нервным потрясением. Большею частью он то спал, то пребывал на зыбкой грани сна и бодрствования.

Когда бабушка Наталья Демидовна, или мама, или сестра Оля наклонялись над ним, что-то спрашивая, он смотрел на их затуманенные лица, ничего не отвечал, и им казалось: он их не понимает или просто не слышит. Но он прекрасно и слышал, и понимал. Только все, что у него спрашивали, казалось ему таким незначительным, пустяковым, что ответ не стоил затраченных на него усилий. Вроде того что: чего бы он хотел поест, или: не прогнать ли с одеяла кота Баську.

Один раз пришел Кузя Шинигин, принес кулек слипшихся конфет-подушечек, что-то рассказывал, Толян не шибко вслушивался: какую-то ерунду. Дважды была Анята. При взгляде на нее им овладевало состояние человека, который мучительно вспоминает и никак не может вспомнить что-то важное, сию минуту необходимое. Анята испуганная уходила.

Потом он стал подыматься, подходить к окну. Ему починили очки, одно стеклышко оказалось с трещиной, но это мешало не очень, только первое время. Вскоре он вышел на улицу. Был уже март, солнце светило во всю, но тепла прибавлялось скупо. Снег стремительно съезжился в сугробах, чернел от накопившейся за зиму и теперь оседавшей копоти, ручьи не звенели, снег просто высыхал, оголяя лбы пригорков, крыши стаяк и ларей, куда дворовая малышня перенесла все свои игры и сборища.

Металлургический комбинат вдали продолжал дымить, и погромыхивать, и гудеть, и взблескивать пламенем, видимым даже в самый солнечный день. Белый, алебастрово-плотный клуб пара, время от времени взлетавший над горами кауперов, кидал на город тень, как настоящее облако, и из него, как из облака, тихо оседала пахнущая коксом морось.

Роща тоже все больше рыжела, истончала вуаль ветвей, и колонии гнезд, похожих на раздерганные клубки шерсти, придавали ей вид деловой озабоченности, суеты. Ничего не попишешь — весна...

Словом, все было как всегда, и Толян потихоньку возвращался к прежним своим ощущениям жизни. Вскоре он уже ходил в школу на занятия. Только не напрямик, через пу-

стырь и рощу, а понизу, по дороге, уже раскисающей в полдень, а к утру снова твердеющей в панцире льда и глины.

Однажды он брал в своей стайке уголь. Это был уголь Баздыревых, который им привезли из паровозно-вагонного депо, двести килограммов, и высыпать который было некуда. Толян взял на себя обязанности топить печь в квартире Баздыревых, потому что тетя Галя слегла и не подымалась (Нюську забрала к себе тетя Каля, которая месяц спустя, выскивая на оттаявшем поле прошлогоднюю картошку, провалится в выработку и тоже ляжет, — Нюську заберет Толина бабушка).

Когда он, насыпав ведро, уже запирал стайку, он увидел: к их одинокому дому снизу по дороге поднимается человек. В шапке-ушанке и полушубке, туго, по-военному перепоясанном широким командирским ремнем. За спиной обвисал полупустой вещмешок защитного цвета. На плечах полушубка погоны, которых Толян еще не видел: их висели совсем недавно, и в тыловом городе они были новинкой (школьный военрук отвел знакомству с новыми знаками отличия нашей армии специальный урок).

Что-то в облике военного, в его осадистых плечах показалось ему знакомым. Но он не успел его рассмотреть как следует. Военный, не останавливаясь, никого ли о чем не расспрашивая, скрылся в их подъезде. Елки-молчалки, к кому?!

Дверь на лестничную площадку в квартире Баздыревых оказалась чуть приоткрытой; странно, Толян сам несколько минут назад прикрывал ее, заходя за ведром. Он вошел, стараясь не шуметь, не топать, как он входил всегда, чтобы не тревожить тетю Галю. Впрочем, она всегда лежала лицом к стене и, казалось, ничего не слышала, не хотела слышать, хоть зашумишь. Тетя Каля, навещая ее, ставила ей еду в изголовье на табурет, так еда часто оставалась нетронутой.

Проходя с ведром на кухню, Толян внезапно увидел в комнате широкую спину военного. Тот стоял посреди комнаты, ничего не говоря, не двигаясь. Даже не сняв шапки.

Толян застыл с ведром в руке. Лишь тут он узнал его: это же Баздырев!

Баздырев стоял и смотрел на лежащую в постели, укрытую одеялом до горла жену, на ее затылок в слежавшихся, скомканных волосах.

От его ли тяжелого взгляда или от внезапной тишины, воцарившейся после грузных шагов вошедшего в комнату взрослого, она медленно перекатила голову, повернулась лицом.

Несколько мгновений она как бы выходила, выдиралась из состояния мучительного забытия. И вдруг в расширившихся глазах ее плеснулось смятение.

Она оперлась на локоть, с болезненной неловкостью напрягая шею. Голова ее затряслась, осыпая на лоб, на щеку длинные плети волос.

Не сводя взгляда с мужа, она усилием встала, медленно села на постели, опустив ноги в сползших до щиколоток чулках, сжав, судорожно скомкав у горла сукно одеяла.

Баздырев молчал.

Она, уже безвольная, почти не веря в его реальность, соскользнула с постели на пол и поползла к нему на коленях под казнь его жестокого, несправедливого молчания. Одеяло, зацепившись за плечо, тащилось за ней по полу.

Она принала к его сапогам, к его коленям лицом и вдруг захрипела, не имея уже сил вытолкнуть из груди душивший ее стон.

Сцена эта, невольным очевидцем которой я оказался, потрясла мое мальчишеское сердце. Ошеломленный, я не помнил, как снова очутился на площадке, продолжая держать в онемевшей уже руке ведро с углем.

Тут я долго колебался: куда теперь девать уголь? Этот вопрос в сию минуту казался мне самым неотложным. Нести обратно в стайку или уж затащить к себе на второй этаж?

Зайти же в квартиру Баздыревых снова — после того, что я видел — нет, сейчас меня сделать это не заставит никакая сила.

И пока я малодушно так стоял, топтался на площадке, дверь распахнулась и вышел Баз-

дырев — как был одетый, в перетянутом ремнем полушубке и в шапке-ушанке, только без вещевого мешка на плече.

Он не выразил удивления, столкнувшись тут со мной, ничего не спросил, не сказал мне «здравствуй». Может, он уже не помнил меня? Он только грузно, ослабленно навалился грудью на перила, стал прикуривать папиросу, предварительно с хрустом покатав ее в пальцах.

А я стоял и смотрел исподлобья на его погоны и звездочки: их было четыре. Кажется, капитан.

Только закулив, затянувшись глубоко несколько раз и с шумом выпустив дым из небритых щек, Баздырев проговорил глухо:

— Слушай, парень, проводи-ка меня к нему.

Я сразу понял.

— Ага, хорошо,— я поспешно кивнул.— Только я забегу, скажусь бабушке, и вот уголь...

26

Поднявшись по косогору, мы вышли на тракт, по обе стороны которого начались дома частного сектора. Во многих местах гравий уже вытаял, текли по колеям мутные струйки. Навстречу тяжело шагала лошадь, запряженная в сани. Полозья скрипели, попадая на гравий. В санях сидели бородатый старик и женщина, растерянно вытянув на отводы саней ноги в толстых валенках: по-видимому, ехали издалека.

Я раза два оглянулся на этих чудачков и увидел вдруг далеко позади Анюту. На ней был красный вязанный капор. Она шла явно за нами, но не приближалась к нам. Анюта не знала Баздырева, видела его первый раз, значит, кто-то ей про него уже рассказал. Зачем она-то увязалась?

Ладно, подумал я, что же теперь, пусть идет...

Потом улица кончилась. тракт нырнул в лог, в которой единственной постройкой была будочка станции подземной вентиляции. Огромная зарешеченная труба гудела на весь лог, загоняя в шахту воздух.

Тут только Баздырев обратил внимание на идущую следом одинокую девочку в красном

капоре и понял, что это не случайная попутчица, спросил меня: кто такая?

Это были его первые за всю длинную, тягостную для меня дорогу слова. Я даже слегка вздрогнул и пробормотал, что это, мол, Анюта... что мы... что она дружила с Шуркой.

На выходе тракта из лога, на взгорке, топорщился редкий сосняк попеременно с голенастым, изросшим в тесноте осинником. По этому взгорку, вдоль леска, лежало кладбище. Оно нарастало с другой, противоположной от города стороны, взбираясь все выше, к самому гребню. Так что надо было проходить его сквозь.

Чуть отдельно от общих рядов тянулся ровный, со стандартными пирамидками из сварного железа ряд могил. Здесь хоронили умерших от ран в госпиталях города.

Ряд этот заканчивался четырьмя или пятью свежевыкопанными ямами, заготовленными явно впрок. Из крайней из них взлетали лопаты земли, самих копальщиков не было видно.

Меня, мальчишку, поразила простая в сущности мысль. Люди еще живут, может быть даже ходят, щурятся на весеннее солнце, пишут или диктуют письма родным и близким, стонут ночами от боли, а могилы для них уже вырыты. Дико и нелепо, противоестественно...

Шуркина могила была как бы в подножии этого сурового ряда. Место, как я сейчас понимал, хорошее, высокое. Холмик уже совсем вытаял из-под снега, да, кажется, его много

и не успело нападать. По крайней мере, когда меня сюда после болезни приводила Анюта, снег только слегка испестрил землю и на фанерном некрашеном конусе, на слове венке блестели лишь ледяные продолговатые наросты.

Я остановился, показал молча кивком головы: вот.

Баздырев тоже остановился, потом опустил мне руку на плечо, слегка придавил:

— Спасибо. А теперь спустись ниже, подожди меня там.

Я торопливо зашагал назад, пока не столкнулся с медленно шедшей навстречу Анютой.

— Что он тебе сказал? — спросила она.

— Чтобы мы подождали его здесь...

— Мы... это значит и я?

— Ну, а кто же еще.

Бугорки Анютиных бровей приподнялись.

— Разве он меня знает?

Я не выдержал, оглянулся. Баздырев стоял без шапки, почти заслонив своей спиной холмик. Просто стоял и смотрел под ноги.

И еще я подумал тогда, что и в этом холмике — в нем особенно! — тоже было что-то противоестественное, чудовищное по своей нелепости, с чем ни мириться, ни даже признавать как реально свершившееся нельзя.

Но вот же: краснеют свежей глиной прямоугольники ям, ждут своей неотвратимой дани — и стоит с обнаженной головой капитан, фронтовик, в мясорубке войны переживший своего тринадцатилетнего сына.



Михаил Небогатов

БЕРЕЗОВСКИЙ

Не надо тратить сил на розыски:
Где он — подскажет вам любой...
Красивым именем —
Березовский —
Назвали город молодой.

И летом солнечным, под грозами,
И в день осенний, и весной
Он так и светится березами,
Их чистой снежной белизной.

В соседстве с домиками скромными
И на холме и вдоль холма
Таковыми кажутся огромными
Многоэтажные дома.

Тайга со всей своей безбрежностью
От крайних улиц — в двух шагах.
И город тесом, хвойной свежестью
Весь по-весеннему пропах.

Он над старинными курганами
И над разбуженной тайгой
Царит величественно кранами —
Железной радугой-дугой.

Растет он каменными стенами
До облаков, до синевы,
И ловит чуткими антеннами
Бесперебойный пульс Москвы...

Нам город люб. Мы все друзья его.
Но вот, осанисты, крепки,
Шагают города хозяева —
Идут со смены горняки.

Встречает их шумливость детская,
И окон свет, и свет берез...
Гляди, гордись, Земля Кузнецкая:
Еще один твой сын подрост!

ИНТЕРВЬЮ БРИГАДИРА

— Что было самым главным, говорите? —
Задумался строитель-бригадир.
— В году минувшем главное событие —
Десятки новых солнечных квартир.
Не знали мы простоя и безделья, —
Сказал, погладив русые усы.
— У многих нынче праздник новоселья.
А у меня вот премия — часы.
Хоть говорят ребята, что я скромник,
Но так и быть, сегодня похваюсь:
И у бригады премия — приемник.
Невелики подарки, а горжусь...
Он обнажил широкое запястье —
Часы блеснули стеклышком своим.
И столько было радости и счастья
В словах шуточных: — Вроде не стоим?

О СТАЛЕВАРЕ

Несемся ли в поезде
В синюю даль —
Гудит под колесами
Крепкая сталь.

Берем ли перо,
Чтоб письмо написать,—
Должны сталевару
Спасибо сказать.

Вот мост над рекой
В паровозном дыму —
И здесь от людей
Благодарность ему.

В космической ночи,
Где звезды вокруг,
На спутнике новом
Тепло его рук.

А в зале концертном,
Что слит с тишиной,
Поет его сердце
Скрипичной струной!

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ВОЛОШИНА

Дорогой Александр Никитич,
Хоть ушел ты от нас навсегда,
Речке речи твоей не вытечь,
Течь ей многие дни, года.
Неспроста мы тебя полюбили,
Верен ты не чужим парусам —
Сам понюхал угольной пыли
И понюхал пороху сам.
С молотком отбойным в забое
Ты немало пота пролил,
И сапером на поле боя
Не жалел ты последних сил.
Обдавало тебя метаном,
Обжигало огнем свинца,
Прежде чем ты своим романом
Покорил людские сердца.
Он живет и в стране советской,
И в далеких иных краях —
Твой роман о Земле Кузнецкой,
О шахтерах, твоих друзьях.
Не страшна им породы глыба,
Ты им новые силы дашь...
За одно, что ты был,—
Спасибо,
Наш Никитич, Добрыня наш!



Сергей Донбай

РЕКА СНОВИДЕНИЯ

* * *

* * *

Ветерок в Хабаровске на сопке.
Головокружительная даль —
Так ее раздвинул взгляд высокий.
Там дымки заводов как печаль;
Самолетик копошится низко...
Помню: как дышалось — далеко!
Как душе и сердцу было близко!
Стаи островов и облаков,
Небо и Амур — в одно сомкнулось,
В вечность превращаясь не спеша...
Вот в таких местах она очнулась —
Русская широкая душа.

КОСТЕЛ АННЫ В ВИЛЬНЮСЕ

Молочные реки и с неба манна
Не пошатнули земных основ.
Встретилась церковь «Святая Анна» —
Ах, глаза — продолжение снов!

Кому-то приснилась такая радость
В средневековой родной глуши.
Вот и живем, этой радостью раясь,—
Ай да сон — продолжение души!

Душой или той же рукой, что гладил
Ночью,— когда называл своей,—
Встал поутру и любя изладил —
Аве! — доченьку всех церквей.

Над нею, конечно, присмотр всегдашний
С неба... но так облака спешат —
Кажется, падают, падают башни...
Ой — уронишь! — нельзя дышать.

Серебристый воздух сквозь деревья
Утром начинает оживать —
Это возникает от доверья
Меж рукой и веткой — благодать.

Безоружно-восхищенным взглядом
Разве ранишь быстрое крыло.
Надо мной, над птицею и садом
Равномерно в мире рассвело.

На душе светло. Согласен разум.
В долгий день из дома выхожу.
И звезду, невидимую глазом,
Я в ладонях памяти держу.

Любим лето, чтобы день был долгим
И мгновенье жизни нашей длил...
Ласточки запомнят, сколько добрым
Существом ты в этой жизни был.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ

Пионерского горна бодрящий родник —
Выбегаем, от холода съевши лопатки!
Вон и я в синей майке навыворот возник...
Начинается день — под баян — с физзарядки.

Начинается лагерный первый сезон.
Нас вчера завезли, укачав на трехтонке.
На ухабах подпрыгивал
горизонт,
И визжали все время от страха девчонки!

Я еще не решил до конца, как мне быть:

В тот или в этот кружок

записаться мне надо?

И кого я таинственно буду любить —

Верку или с косой из шестого отряда?

Мы деремся, растем, нарушаем режим...

Я тогда и не думал совсем, что когда-то

Станет все это детством счастливым моим

Возвращаться на крылышках зябких лопаток.

* * *

Был наказан. Выплакался. Сплю.

Это я: бессилен, счастлив, маленький...

Счастлив, что прощен, любим, люблю.

Что укрыт шаленкой маминной.

Сын наказан. Выплакался. Спит.

Тишина. Посапывает. К вечеру.

Счастлив ли?.. Отец пред ним стоит —

Это я же — с одеяльцем в клеточку.

* * *

Приеду проводить сына,

Увижу по тихим глазам:

Ему безотчетно тоскливо,

Хоть в лагерь и рвался он сам.

Ну, что ты — блаженствуй до школы!

Расстелем с гостинцами стол.

Напьемся мы с ним пепси-колы.

Сыграем мы с ним в волейбол.

Потом он уйдет за калитку.

Белеет ограда в лесу.

И мне на прощанье улыбку

Он выдавит, словно слезу.

Я в город уеду от сына,

В автобусном сдавлен окне.

И так безотчетно тоскливо

Все это припомнится мне.

* * *

Мы гуляем в названиях улиц.

Мы из детства недавно проснулись.

Холодеют безгрешные завучи

От того, как мы держимся за руки.

Но недолго мы держимся за руки,

Как на яблоне держатся яблоки.

Только темы запретной коснемся,

И из юности сразу проснемся.

Сразу ты мою руку отпустишь

И разлуку меж нами разбудишь...

Сразу я отпущу твою руку

И в казарме услышу побудку...

И, зажмурясь, как будто от солнца,

Мы из встречи случайной проснемся;

И, как завучи наши тогдашние,

Испугаются наши домашние...

Испугаются... и усмехнутся,

И к домашним делам отвернутся:

Будто нам это только приснилось,

Будто в нас что-то не добесилось,

Будто мы от жестоких романсов

Вдруг расплакались, слезы размазав,

А вокруг все над нами смеются!

Из бессонницы этой проснуться

Невозможно! И ты улыбнешься

На прощанье... И я улыбнусь...

Из судьбы никуда не проснешься.

Оглянись, когда я оглянусь!

ДРУГИЕ

Им хорошо. Друзей дразня,

Причастьем к неземному кругу,

Ах, как тянуло их друг к другу!

Завидовали им друзья!..

Она теперь живет с другим.

И он теперь живет с другой.

Он был тогда совсем другим.

Она была совсем другой.

Они спешили насмотреться,

Наговориться, насмеяться,

Чтобы в другой, в другом потом

Легко друг другу узнаваться,

Страдая этим волшебством.

* * *

Влетела, не чувствуя стен,
Мое равновесие сдунула!
И комната сделала крен
Опасный, как будто безумная!

Вбежала, смутив времена!
И в этих минутах осталась ты,
Легко отовсюду видна:
Из детства, из нынче, из старости...

Вбежала пастушкой времен!
В нас Дафнис и Хлоя играли...
И всех не упомянуть имен,
Которыми нас окликали.

Прекрасная, снова из пен
Морских, запыхавшись, вбежала!
И комната сделала крен...
И все начиналось сначала.

* * *

Проснись у меня на плече!
Хотя бы приснись, что проснулась!
Во сне, возвращающем в юность,
Мы будем ничья и ничей...

Проснись у меня на плече
В автобусе в Сигулду снова!
Должна же быть магия слова —
Проснись у меня на плече!

Проснись у меня на плече —
Кудряво, светло и уютно,

И просто, как доброе утро,
Проснись у меня на плече!

И даже за нашим пределом,
Где только осенняя высь,
На склоне моем опустелом
Кукушкиной слезкой проснись.

РЕКА СНОВИДЕНИЯ

Широкого заката
Небесная река
Уносит безвозвратно
И сны, и облака
К могучему покою
Навек передохнуть,
Где отмелью nocturno
Намечен Млечный Путь.
Дневных идей таймени,
Сомнений караси
В созвездьях сновидений
Сквозь омут проросли.
Опять бумажный голубь —
Голубоглазый мир —
Летит бесстрашно в прорубь
Житейских Черных Дыр.
И стоит слово бросить,
Как на излучке снов
И на межзвездном плесе
Круги идут от слов;
И в круге Зодиака
На самом тайном дне
Нахмурилась коряга
И помнит обо мне...

Юрий Котляров

СИБИРЯК ГАГАРИНСКОГО ПЛЕМЕНИ

Аэропорт города Аркалык. 21 июля 1975 года. Полдень по местному времени. Жара и духота просто невероятные, особенно для сибиряка. Нет спасения от беспощадно щедрого солнца. Будто все плавится под его лучами — и бескрайняя рыжая степь, и небо, которое не спасают редкие легкие облачка. Ну, а о нас и говорить нечего: легкие рубашки давно пропитались липкой горячей влагой. Нам сказали, что за последние три месяца здешние хлебные поля не испили ни одной небесной капли. Поверить можно...

Ожидаем взлета. Нас четырнадцать журналистов — специальные корреспонденты «Правды», «Известий», «Комсомольской правды», «Труда», «Красной звезды», ТАСС и Фотохроники ТАСС, АПН, Центрального телевидения, Всесоюзного радио, которым предстоит присутствовать при выходе из спускаемого аппарата Алексея Леонова и Валерия Кубасова после первого в истории совместного международного полета космических кораблей по проекту «Союз» — «Аполлон». Остальные наши коллеги будут ждать в аэропорту.

Договариваемся о взаимном обмене информацией, о машинах, которые должны быстро доставить пресс-группу из аэропорта в гостиницу, к телефонам, после возвращения с «точки».

Руководство поисковой службы предоставило для журналистов два вертолета МИ-8. Знакомимся с командиром нашего вертолета — Александром Васильевичем Чекомасо-

вым. По опыту прежних таких «десантов» заранее прошу у него разрешения воспользоваться запасным шлемофоном при подлете к месту посадки, чтобы самому слышать доклады командиров кораблей группы поиска, голоса космонавтов.

Отошли в сторонку, перебарываемся малозначащими фразами, шутками. Ждем.

Волнуюсь, что и говорить. Ведь встречаю не просто Алексея Леонова, возвращающегося из триумфального полета, за которым следил весь мир, а Алексея Леонова — земляка, которому кузбассовцы, узнав о моей командировке, попросили передать и поздравления, и сувениры. От всей души.

Это будет не первая встреча с ним.

А началось все с сообщения ТАСС 18 марта 1965 года:

«...В 10 часов по московскому времени в Советском Союзе на орбиту спутника Земли мощной ракетой-носителем выведен космический корабль-спутник «Восход-2», пилотируемый экипажем в составе командира корабля — летчика-космонавта полковника Беляева Павла Ивановича, второго пилота — летчика-космонавта подполковника Леонова Алексея Архиповича...»

Мы, тогдашние репортеры газет «Кузбасс» и «Комсомолец Кузбасса», были возбуждены до предела, узнав, что Леонов — наш земляк! Хватаемся за телефоны, лихорадочно советуемся: немедленно лететь в Листвянку (самолет авиаторы готовы дать) или ехать поездом?

И вот новость: старшая сестра космонавта, Раиса Архиповна Ганичева, живет в Кемерове! Ну, адрес узнать несложно — и мы уже мчимся в Кировский район, на Севастопольскую. Взлетаем на третий этаж — и... слышим от соседей, что «Раисы Архиповны нет, когда будет — неизвестно». Решаем: в райком партии — может, что-то интересное узнаем. Удача: там Раиса Архиповна, с опередившими нас тассовцами! С готовностью возвращается с нами домой, достает альбом с драгоценными семейными фотографиями. И только начинаем рассматривать их, задавать первые сбивчивые вопросы, как замираем от нового радиосообщения:

«...В 11 часов 30 минут по московскому времени при полете космического корабля «Восход-2» впервые осуществлен выход человека из корабля в космическое пространство.

На втором витке полета второй пилот летчик-космонавт подполковник Леонов Алексей Архипович в специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения совершил выход в космическое пространство (тут Раиса Архиповна, побледнев, охнула и беспомощно опустилась на диван: «Ой, Ленин, родной... И страх, и тревога в этом «ой»), удалился от корабля на расстояние до пяти метров, успешно провел комплекс намеченных исследований и наблюдений и благополучно возвратился в корабль...»

Как описать радость, которую мы пережили в те минуты — да разве только мы?!

Потом я несколько раз, в том числе и с десятилетним интервалом, смотрел фильм, который привозил Алексей Архипович, о выходе и возвращении в корабль, о свободном парении в жутко-бескрайнем пространстве, фильм, снятый там, в космосе. И не мог освободиться от ощущения фантастичности всего происходящего на экране. А ведь там была работа, риск, которые требовали сгустка воли, душевных и физических сил, многих лет подготовки. Это был подвиг сродни гагаринскому звездному витку.

Как же шел к нему Алексей Леонов, как формировался его характер? На это в какой-

то мере помогают ответить свидетельства его друзей по работе, встречи с теми, кто хорошо знал семью Леоновых и, конечно, знакомство, беседы с самим Алексеем Архиповичем...

Он был в числе тех восьми летчиков, включая Юрия Гагарина, которые стали первыми членами первого отряда космонавтов (вот ведь какое интересное совпадение: восьмой ребенок в семье, восьмой в семье космонавтов и один из восьми «самых-самых» первых, из того, «гагаринского призыва», которые — до недавнего времени — продолжали работать в Центре подготовки!). Они были — и остались — очень дружны. Но особенно дружны с Гагариным. Много лет спустя в один из приездов в Кемерово Алексей Архипович вспоминал:

— Четвертого октября 1959 года нас собрали в госпитале. Зашел в палату — там сидит молодой человек моего возраста с добродушной веселинкой на лице... Так все и запомнили его всегда улыбающимся...

«Старший лейтенант Гагарин, летчик, летаю на Севере...» Я тоже представился. Разговорились. Юра озабоченно поделился тревогой: на Севере сейчас полярная ночь, пурга, Леночка, дочушка-малышка, плохо себя чувствует, а он здесь прохлаждается... «Надо же, — подумал я с удивлением, — такой молодой и такой нежный папа и муж...»

Всего тогда через строгий медицинский контроль пропустили три тысячи человек, из них отобрали 42, а осталось нас после всех испытательных проверок восемь. Это — костяк первого отряда космонавтов. Они участвовали и в создании кораблей «Восток», «Восход»...

Прошло два года — и Юра на старте. И чем дальше мы уходим от 12 апреля 1961 года, тем больше сознаем величие совершенного, тем незабвеннее образ первого космонавта планеты. Сергей Павлович Королев с полным основанием говорил: «Юрий — это воплощение юности планеты, в нем счастье во сочетании природная сметка и находчивость».

Он шел всегда с пониманием своего будущего. И я убежден: если бы Юрий не был космонавтом, он был бы прекрасным педагогом или летчиком. Но везде и всегда — Юрием Гагариным. Потому что он — и это главное — состоялся как личность...

И перед отлетом из Звездного в Байконур, в канун старта «Союза-19», Алексей Архипович писал в газете «Труд»:

«Юра... Мы все учимся друг у друга, и все учились у него. Готов предложить пари: спросите любого космонавта, ни одного не найдется, кто хоть что-нибудь из Юриного характера не позаимствовал бы».

В свою очередь слова Космонавта-1 о своем друге помогают лучше понять, почему тому также доверяют быть первым — первым шагнуть в открытый космос, первым участвовать в международном полете. Вот что говорил журналистам Юрий Гагарин:

— Такой парень, как Леша, на десять тысяч один... Леша мой большой друг. За улыбкой, веселым, общительным характером — человек разностороннего таланта. Мало сказать о нем — волевой. Он упорен как не знаю кто. И великолепнейшая реакция. Все делает быстро, но тщательно. Качества эти для космонавта незаменимые. А что стоят его выдержка, хладнокровие! У Алексея, когда надо, железные нервы. Мы ему часто завидуем. Ко всему этому у Леонова отличные знания космонавтики.

К Гагариному присоединяется и Андриян Николаев:

— У Леши золотые руки. За что ни возьмется, все у него спорится. Характер — прямой, откровенный...

А вот что пишет Георгий Шонин, тоже космопроходец «гагаринского набора», в своей книге «Самые первые»:

«Мне нравится этот веселый и общительный русский парень. Нравится своим жизнерадостным, преданностью в дружбе. Мне по душе его энтузиазм и искренняя заинтересованность во всех отрядных делах и начинаниях. Алексей постоянно начинен юмором. Он страстный охотник. Но эта страсть счастливо сочетается в нем с огромной любовью к природе и к «братьям нашим меньшим»...

Он любит общество и со всеми быстро находит общий язык, подкупая и детей, и взрослых дружелюбием и приветливостью.

Алексей очень искренний человек. И, как все такие люди, не умеет скрывать ни своих симпатий, ни антипатий. По его лицу и глазам всегда можно догадаться о его настроении, об отношении к человеку или событию...

Забегая вперед, хочу добавить несколько запомнившихся, пусть мимолетных, штрихов, которые, тем не менее, думается, подтверждают эти высказывания.

...Июль 1976 года. Машины из Тисуля идут в аэропорт. Позади незабываемые встречи с земляками. И вот около последнего поворота бегут по обочине мальчуган и девчушка, симпатичные, лет по семь-восемь. Леонов просит остановиться.

— Здравствуй, ребята. Как тебя зовут?

— Леха, — еще не отдышавшись, отвечает пацан.

— О, и меня так же кличут! А это кто с тобой?

— Сестренка, Света.

Леонов, счастливо смеясь, удивленно разводит руками, оборачивается к жене, Светлане Павловне:

— Ты посмотри, какое совпадение! Вот так встреча! Такого и не придумаешь!

Увидел в руках у Лехи букварь, взял его, сделал дарственную надпись.

— Ну, учитесь хорошо, будьте настоящими сибиряками!

— Спасибо, — выдохнул Леха и стремглав припустил со Светой наискосок, к летному полю.

Через несколько минут они стояли рядом у самолета, два Алексея, и прощались на равных, как добрые приятели-земляки...

Мы видели, что друзья и близкие дружно указывают на характерные леоновские черты — неиссякаемую, кажется, энергию, остроумие, находчивость, разностороннюю одаренность и, наконец, мастерство в выполнении того, что делает. А что такое мастерство в его представлении?

Как-то в мае 1962 года он с женой, Светланой Павловной, был в гостях у скульптора

Г. Постникова, автора известной композиции «К звездам», бюстов Ю. Гагарина, Г. Титова, других космонавтов. И вечером, вернувшись домой, записал в дневнике:

«...Даже из камня можно высечь жизнь, если высекать его будет рука мастера.

Мастерство... А что это такое? Иногда о нем говорят как о чем-то таком, что дается прилежанием и послушанием, талантом и способностями. Наверное, мастерство — это и великая нравственная сила».

Вот эту-то нравственную силу, как известно, человек накапливает с детства и всю жизнь. Алексей Леонов — не исключение.

Он родился в большой крестьянской семье на хуторе у деревни Листвянка нынешнего Тисульского района Кемеровской области 30 мая 1934 года. Отец будущего космонавта, Архип Алексеевич, был одним из организаторов первого листвянского колхоза. Общительный, сметливый, энергичный, он был уважаемым и авторитетным человеком в округе. Давняя подруга семьи Леоновых Анна Петровна Уварова вспоминает:

— Отец их большой трудитель. В тридцать третьем году с кормами очень плохо было. Так он по двору ходил, уговаривал, убеждал: берите, мол, колхозных овец к себе до весны, не дайте погибнуть — ведь не чужое, наше общее это теперь добро. И что вы думаете: добился, сохранили, весной на луга вместо пятисот — тысячу овец выпустили, с приплодом то есть... И косить хлеба научил всех нас косой с грабками, планками такими: быстрее и удобней получается, чем серпом или просто косой... А вечерами Архип Алексеевич становился учителем на курсах ликбеза. Ведь это сколько ж терпения надо, чтобы попривыкли великовозрастные ученики буквы писать да читать! Все мы благодарны ему за грамоту. И Евдокия Минаевна, мать Алексея, такая же. Все у них дружно да ладно было. Работать — от души, веселиться — тоже. До сих пор помню, как отец с матерью «барыню» плясали да частушки пели...

В Кемерове, как и в Листвянке, многие

знают, помнят семью Леоновых — в 1937 году она перебралась в Кировский район нынешнего областного центра. Анна Матвеевна Шукан рассказывает:

— Барак наш дружный был. А о Леоновых и говорить — чего там! Минаевна за детей, внуков не переживала: не ругались, не ссорились. Известно, как в войну трудно было. Кто-то из неместных журналистов — чтоб страшнее получилось, что ли, — написал однажды, будто леоновские дети голодали тогда. Неправда это. Корову держали, картошку, капусту, просо садили. Как все. Всеми семьями и ухаживали, выращивали, убирали. И Леник (так его все звали в детстве) тоже вместе со всеми трудился, хоть и мал был. Многие у него от матери — ей-то больше с детьми приходилось возиться: отец и старшие на работе с утра до ночи. Удивительно, как она умела всех приветить, добру обучить. Бывало, идет на базар — за ней хвост ребячий, друг за дружку держатся, пять-шесть — мал-мала меньше...

Ее рассказ дополняет Татьяна Васильевна Пашарина:

— Леоновы — люди доброты необыкновенной. Придешь к ним — без угощения не выпустят: истинно сибирская натура. Не забуду, как Ленику рубашку сшили из цветного материала, который по карточкам тогда давали. Никак не хотел надевать, до слез дошло: мол, никто таких не носит. Кое-как его сообщда убедили, что ничего в этой рубашке особенного нет...

Вот в такой атмосфере и выросал Леник Леонов, в ней и складывался постепенно, незаметно его характер. Поэтому и живет в нем до сих пор благодарная память о детстве. Достаточно прочитать его книгу — задумчивую беседу с ребятами — «Солнечный ветер», чтобы понять, как глубоко отложились в его душе впечатления тех далеких, трудных военных лет.

Хорошо запомнился ему первый школьный день.

«Накануне я взял брезентовую сумку от противогаза, сложил в нее журналы с цветными картинками, все самое дорогое и кра-

сивое, что у меня было, а наутро мама повела меня в школу. Иду я рядом с мамой, гордый, веселый, одной рукой держусь за мамину руку, а второй поддерживаю лямку от сумки с набитыми в нее сокровищами — не растерять бы. Кажется, никогда еще тротуары Кемерово не были так хороши, как в то сентябрьское утро. Иней искрился, переливался, подмигивал, он словно радовался вместе со мной, что я стал взрослым. Оглянулся я и обомлел от восторга: там, где я ступал, дымились на тротуаре теплые следы в ореоле сверкающего на солнце инея. Следы человека на земле, его маленькая и короткая, но теплая о себе память...

Мама по дороге в школу решила завести меня в парикмахерскую — оброс я за лето основательно, — а я упрямяюсь, не иду. И тайком «колупаю» носком башмака иней на тротуаре, люблюсь, как после этого от него легкой струйкой поднимается пар и мой след разрастается до великаньего. Растает иней в одном месте, я чуть переступлю в сторону и снова старательно грею ногой тротуар: интересно же посмотреть, какой теперь рисунок на нем возникнет. Мама сердится, тянет меня в парикмахерскую, боится, что опоздаю в школу: вот какой у нее упрямый сын...

Нина Порфирьевна Березовская учила его в третьем, четвертом классах.

— Общительный он был, — не спеша говорит старая учительница, вглядываясь в небольшую групповую фотографию своих тогдашних третьеклашек. — Льюли к нему другие ребята, хоть учился он, как все. Только вот на перемене то и дело рисует корабли, самолеты, а вокруг — стайки любопытных...

Да, друзей у него в детстве было много (как, впрочем, и в юности, и в зрелые годы). Но одним из самых близких стал Анатолий Шадрин. Учились в разных классах, а после уроков — всегда вместе. Увлекательных занятий — каждый день уйма: и в городки, и в «попа-гонялу», и в лапту, а зимой — коньки деревянные, обитые старым обручем от бочки, мастерить, ледяную горку во дворе ладить, а то снежную крепость...

Однажды летом пасли своих коров на окраине поселка и увидели чью-то овечку,

которая в яму с жидким гудроном попала. Полдня почти бились, вытаскивая, пока не спасли. Перемазались, устали, но зато как легко, радостно чувствовали себя!

У детей военной поры были свои игры, свои увлечения. Ну, какая сейчас проблема для тех, кто хочет научиться плавать? Иди в крытый бассейн — даже в детских садах они уже есть. Или купи в магазине затейливые надувные круг, жилет, матрац... Ни о чем таком мы, кемеровские мальчишки, в те годы представления не имели.

Томь от барака, где жили Леоновы, была далековато, да к тому же к широкой, быстрой и коварной нашей реке с крутым правым берегом без взрослых ходить запрещалось, а им не до нас было. Зато рукой подать — пруд (затопленный вешними и дождевыми водами глиняный карьер). Там ребятни полно. Леник плавать не умел, поэтому по примеру таких же «лягушат» завязывал штанины стареньких брючат, мочил и хлопал по воде. Они надувались — и готово «плавсредство». Много лет спустя, рассказывал:

— А раз ребята сыграли со мной шутку. Тихонечко, так что я и не заметил, подплыли ко мне и выдернули спасательное устройство из-под меня. Глотнул я от неожиданности водички, вынырнул, в глазах темно. «На помощь!» — кричу. Какое там! Я на радостях заплыл так далеко, что, пока помощь придет, меня, пожалуй, и в живых-то уже не будет. Ну, думаю, не на кого мне теперь надеяться, придется самому себя спасать. И... поплыл к берегу... Так и научился плавать.

Маленькие уроки детства... Но ведь именно с них начинается и большая школа жизни. Они, хотим мы этого или нет, не проходят бесследно.

Родители, братья, сестры, друзья, учителя... Потом, уже став знаменитым космонавтом, он скажет:

— Я вообще считаю, что мне удивительно везло на людей. И на учителей. Не на педагогов. Их много. А вот на учителей... Конечно, в сутолоке жизни не всех своих учителей каждый день вспоминаешь. Но в такие моменты, как сейчас, когда собираешься в полет, как бы заново проглядываешь прожитое.

И тогда они собираются все вместе. И тогда понимаешь, что они живут с тобой, в тебе, каждый день. Потому что они провели тебя по жизни. И вывели в космос.

В космос... А ведь у него был, казалось, и иной выбор. И не один.

Он мог бы стать, например, крупным профессиональным художником.

«Рисовать я научился рано, еще до школы. Доставляли ли мои рисунки радость людям, этого я не знал, да и, по правде говоря, не думал об этом. Просто мне нравилось рисовать — и все.

Цвет — яркий, волнующий, таинственный и ясный в одно и то же время, говорящий людям порой больше любых слов, — вошел в мою жизнь и открыл для меня в мире новую красоту...

В искусстве берет начало творчество, без которого невозможен сам человек... Человек, понимающий и ценящий искусство: сам у же творец».

Еще в первом классе учительница обратила внимание на его способности к рисованию. Рисовал он самозабвенно — дома, на школьной перемене, даже на угольном ящике во дворе барака.

Рисунки пятиклассника Леонова (портреты И. В. Сталина, Петра Первого на коне, зимний этюд) экспонировались в Кемерове на выставке творческих работ школьников. С четвертого класса он — неизменный редактор стенной газеты. И в училище, и в авиачасти, и в отряде космонавтов. Даже накануне отъезда в Байконур на свой первый старт он был занят... выпуском очередного номера знаменитого сатирического «Нептуна».

Он — отличный знаток живописи.

«И все же один художник прошел через всю мою жизнь — Айвазовский... Потому что это стихия, буйство красок, проникновенная лирика, воздух и океан движения. Я собрал, кажется, почти все книги, что о нем написаны и изданы. Мне посчастливилось даже найти несколько подлинников его картин, которые считались безвозвратно утерянными».

Сейчас картины Леонова, посвященные космосу, космонавтам, знает весь мир. Он — член Союза художников СССР.

Была у Алексея и другая страсть: любил мастерить модели самолетов, кораблей, паровозов. В восьмом классе сконструировал оригинальный физический прибор, который стали использовать при проведении опытов на уроках физики. «Удивительно находчив и сметлив. Каждое его предложение оказывалось дельным и нужным. Он мог бы, наверное, стать хорошим конструктором», — это мнение одного из создателей космических кораблей. Оно оказалось прозорливым: в 1981 году космонавт Леонов успешно защитил диссертацию на звание кандидата технических наук.

И спортсмен он незаурядный. Не раз выступал в составе школьных команд на велогонках.

«До сих пор мои самые любимые виды спорта — это бег и плавание. Как бы я ни был занят, каждый день бегаю и плаваю. В любую погоду, зимой и летом, в осеннюю слякоть и под звон весенней капли. Пять километров до пота, так что майку надо выжимать, а потом еще полкилометра в бассейне. Кто-то подсчитал, что за один год я пробегаю двести кроссовых дистанций, проезжаю около тысячи километров на гоночном велосипеде и прохожу двести километров на лыжах... Для меня спорт стал необходимостью. Таким же, как воздух, которым мы дышим».

У него спортивные разряды по велосипеду, метанию копья, фехтованию, стрельбе. Он — заслуженный мастер спорта СССР.

Но стал он летчиком. После школы (он окончил ее в Калининграде, куда переехала семья в 1948 году) Алексей поступил в военно-авиационное училище. Там, в армии, очень пригодилось с детства усвоенное правило: уж если что делать, то делать с умом, основательно, до конца.

Успехи в службе лейтенанта Леонова, его влюбленность в небо, отличная подготовка не остались незамеченными. Осенью 1959 года ему предложили:

— Хотите летать на новой технике?

Он согласился не колеблясь, хотя, конечно, не знал еще, что новая техника — это космические корабли. А через некоторое время в его дневнике появилась запись:

«Космонавтика» — это новое слово вошло в нашу жизнь и все в ней перевернуло. Кажется, совсем недавно мы проходили отборочную комиссию. Долгие, томительные дни в госпитале сблизили нас... Тогда все представлялось иначе. Теперь мы знаем, что каждый шаг пути, по которому мы идем, необычайно важен. Без него не может быть следующего.

Не легки километры космической дороги.

Никто из космонавтов, отправляясь в полет, никогда не считает, что он идет на подвиг.

Помню, перед полетом Юрия Гагарина у нас было партийное собрание первого отряда космонавтов, на котором мы провожали его в космос. Тогда никто из нас не говорил высоких слов, не говорили ни о каком подвиге. Мы считали, что Гагарин идет продолжать работу, которая была начата на Земле.

А вот подготовка к каждому полету — это действительно очень трудное дело. И многие ее не выдерживают. Немало хороших, способных ребят ушли от нас, не выдержав программы подготовки.

И здесь я вот еще что хотел бы сказать. Когда в космос отправляется космический корабль, известность, слава достаются в основном нам, космонавтам. А ведь освоение космоса начинается не со стартовой площадки космодрома. Оно начинается в лабораториях многочисленных институтов, в кабинетах ученых, в конструкторских бюро, в цехах заводов. Имена выдающихся теоретиков, инженеров, конструкторов часто остаются за рамками газет и журналов. А без этих людей, чей труд нередко является настоящим подвигом, не было бы нас, космонавтов.

Вот о чем не стоит забывать.

Но, конечно, полет — это не прогулка в космосе, часто бывает и очень тяжело. И даже страшно. Потому что опасность всегда рядом с тобой, начиная от взлета и кончая посадкой. Как бы ни была совершенна техника, очень трудно абсолютно исключить

отказы. Опасность всегда будет, потому что человек отрывается от Земли, а она отпускает страшно неохотно и снова притягивает к себе».

О степени космического риска он знал не понаслышке. Он ощущал его не только, когда первым за считанные минуты «проплыл» в открытом космосе над всей нашей страной. Наступали последние минуты полета, его программа была полностью выполнена. И вдруг на семнадцатом, завершающем витке обнаружилось, что отказала автоматическая система спуска. Павлу Беляеву и Алексею Леонову пришлось уйти на новый виток, чтобы специалисты на Земле вместе с экипажем за какие-то считанные десятки минут приняли единственно верное решение. Командир корабля взял управление на себя и впервые посадил его вручную. Пусть не в расчетной точке, а в пермской тайге. Но — благополучно!

И вторично «шагать» по космической дорожке нисколько не легче и не проще. Ни один полет не копирует предыдущие. У каждого — свои задачи, все более сложные. Но два момента в каждом полете остаются самыми сложными и ответственными — запуск и посадка. Особенно такая, как эта, после первого совместного полета советского и американского кораблей.

...В 8 часов 20 минут московского времени Леонов и Кубасов надели скафандры, затем перешли в спускаемый аппарат. Закрыли люк, отделяющий его от орбитального модуля, проверили герметичность и люка, и скафандров.

13 часов 10 минут. «Союз» летит над Атлантическим океаном, приближаясь к Африке. В районе острова Вознесения бортовая автоматика включает тормозные двигатели, и корабль начинает сходить с космической орбиты...

А наши вертолеты в это время из Аркалыка перелетели ближе к «точке» — расчетному месту приземления спускаемого аппарата в обжигающей зноем степи. Жадные глотки колодезной воды на время дают передохнуть от жары.

Последний инструктаж руководителей по-

садки. Короткие беседы с поисковиками, одетыми в голубые комбинезоны и синие береты с эмблемами «Союза» — «Аполлона». Такая же красочная эмблема нарисована на заасфальтированном круге в центре импровизированного полевого командного пункта. С воздуха она смотрится очень эффектно.

То и дело поглядываем на часы: ведь еще несколько минут — и мы услышим в наушниках шлемофонов далекие голоса Алексея Леонова и Валерия Кубасова, уже не из космоса, а с самолетной высоты... Почему-то именно сейчас вспомнилось, как впервые, десять лет назад, в Кемерове, услышал по телефону голос Алексея Архиповича, тоже далекий — из Звездного городка.

Тогда я работал в газете «Кузбасс». Сразу после полета Павла Беляева и Алексея Леонова редактор наш, Николай Яковлевич Троицкий, предложил: хорошо бы на сей раз для газетного клуба «Честь смолоду» организовать выступление земляка-космонавта — пусть он ответит на вопросы молодых кузбассовцев.

Отличная идея! Но прежде надо связаться с героем и получить его согласие. Это и было поручено сделать мне.

И вот, не зная толком домашнего телефона Леоновых, используя всю возможную журналистскую дипломатию, все же дозволиваюсь. Немало удивленная Светлана Павлова отвечает, что Алексея Архиповича нет дома и предлагает позвонить попозже.

Звоню второй раз — удачно! Передаю редакционные поздравления и просьбу. Алексей Архипович тоже, видимо, приятно удивлен:

— Первый звонок из Кемерова!

Согласие получено. Договариваемся: в газете сообщается об этом согласии, поступившие вопросы систематизируются, отправляются ему, а затем кто-то из нас приезжает и записывает его ответы. Эту последнюю, очень интересную миссию, посчастливилось выполнять Максиму Щербакову, заведующему отделом пропаганды.

Ответы были опубликованы в газете 4 ноября 1965 года, в день прилета космонавта вместе с семьей в Кузбасс. Вопросы были

заданы самые разнообразные. Здесь мне хочется привести ту часть диалога, которая хоть в малой мере характеризует самого Алексея Архиповича.

Вопрос: Листвянские парни и девушки мечтают стать летчиками-космонавтами. Что надо для этого?

Ответ: Надо много знать и уметь... Что нужно для космонавта? Здоровье, знания, сообразительность и быстрота реакции.

Вопрос: Я и многие мои товарищи готовимся к поступлению в институт. Нередко у нас возникают споры о том, какую профессию следует выбрать. Я, например, хочу стать инженером-горняком, а мне говорят: «Работать под землей — это старо. Надо стремиться ввысь, в просторы Вселенной...»

Ответ: Все космонавтами не могут быть. Каждый труд почетен. Но будь везде человек. Это главное!..

Вспомнился и другой разговор, на сей раз очный, в гостиничном номере в Кемерове. В феврале 1966 года Алексей Архипович прилетел для участия в областной партийной конференции (на ней его единодушно избрали делегатом на XXIII съезд партии от Кузбасса, а спустя несколько лет — делегатом XXV, а затем и XXVI съездов). И как раз в те дни в мире широко обсуждалась очередная советская космическая «сенсация» — автоматическая станция «Луна-9» осуществила мягкую посадку на естественном спутнике Земли и передала фотографии его ландшафта. Вполне логичным было задание редакции: встретиться с Леоновым и взять у него интервью.

Готовя эти записки, я еще раз перечитал ответы Алексея Архиповича и не могу не привести некоторые из них.

— Как Вы оцениваете результаты полета новой космической станции?

— Меня этот вопрос интересует прежде всего с точки зрения практического приложения своей профессии. Совершенно очевидно, что освоение Луны должно было начаться с посадки автоматической станции на ее поверхность, которая дала бы нам самую необходимую информацию о том, что представляет собой наш спутник... До этого поле-

та никакого разговора о высадке человека на Луне не могло быть. Этот важнейший шаг был бы просто невозможен. Сейчас данные, переданные «Луной-9», конечно, соответствующим образом скорректированные, несомненно дают возможность утверждать, что человек без опасений может идти на высадку на Луне...

Итак, в результате последних экспериментов советских ученых и космонавтов установлена безопасность нахождения человека в открытом космосе, стала известна и лунная посадочная площадка...

Скажу по секрету: я давно занимаюсь изучением Луны. Прочитал массу учебников и научных работ, изучил лунные карты. Поэтому, наверное, так хорошо, до мельчайших деталей, представляю себе ее поверхность и то, как ступит на нее человек.

— Еще в 1957 году в Третьяковской галерее мне довелось увидеть картину известного русского художника Крамского, изображающую Иисуса Христа в Ливийской пустыне. Тогда я остановился перед ней пораженный: как здорово — настоящий лунный пейзаж! На днях, рассматривая снимки Луны, переданные нашей автоматической станцией, я снова вспомнил эту удивительную картину Крамского — да, художник почти точно предугадал лунный ландшафт.

— И еще маленькая деталь. Года три назад я сделал рисунок посадки космической станции на Луну. Конечно, в то время еще никто не знал, где произойдет эта посадка. Но так получилось, что еще тогда я выбрал место для нее... в районе Океана Бурь, то есть там, где опустилась «Луна-9»! Это случайность, но для меня она особенно приятна...

Алексей Архипович задумывается, вспоминая, видимо, что-то очень дорогое, сокровенное. Потом произносит:

— Очень жаль, что до этого великого события не дожил наш незабвенный Сергей Павлович Королев — всего каких-нибудь двадцать дней. Ведь под его непосредственным руководством, при его самом активном участии были созданы и запущены все наши искусственные спутники и космические ко-

рабли. Все это его рук дело. И сегодня самый лучший памятник Сергею Павловичу — блестящий полет «Луны-9»...

Прошло немногим больше девяти лет после того интервью — и вот новый триумф советской космонавтики. Почти два месяца несут вахту на орбитальной станции «Салют-4» Петр Климук и Виталий Севастьянов, возвращаются из полета их друзья — Алексей Леонов и Валерий Кубасов.

...13 часов 22 минуты. Высота 150 километров. Внизу под «Союзом-19» быстро уплывает назад, на запад, Центральная Африка. Спускаемый аппарат отделяется от приборно-агрегатного и орбитального отсеков — те сгорят затем в плотных слоях атмосферы. Алексей Леонов докладывает Центру управления:

— На борту все нормально, ничего не крутит, не болтает. Самочувствие отличное. Иллюминаторы уже закопченные. Трудно что-нибудь увидеть, но чувствуется — Земля близка. Температура на борту двадцать градусов.

13 часов 28 минут. Высота 80 километров. Спускаемый аппарат входит в плотные слои атмосферы. На время связь прерывается — так и должно быть. Все больше гасится скорость — и вот снова на высоте примерно 30 километров заговорил «Союз». Первым услышал бодрый, приглушенный расстоянием и помехами голос Алексея Леонова экипаж поисковиков Мелихова:

— Просим передать в Центр управления: самочувствие нормальное, все идет хорошо, готовимся к посадке...

Наши вертолеты уже в воздухе и идут к уточненному месту приземления. Оно очень близко к расчетному. И тут из надвинувшейся тучки по стеклам вертолета неожиданно ударила веселым залпом крупная дробь дождя. Я даже вздрогнул. Словно сама природа торжественно салютовала победному возвращению «Союза-19»!

Командир вертолета показывает направление: вот сюда смотрите, здесь он появится. Одной рукой теснее прижимаю к уху шлемофон, другой придерживаю на коленях записную книжку. И напряженно всматриваюсь

в лохматый обрез пепельной тучки.

И вдруг над нею как-то сразу возникает, как волшебный бутон яркого бело-оранжевого цветка, купол парашюта. Он распустился на высоте семь тысяч метров и теперь, эффектно оттененный тучкой, величаво и, кажется, не спеша несет к бурой степи драгоценную ампулу. На самом же деле скорость спуска — порядка семи-восьми метров в секунду. Потом все меньше, меньше...

Мои коллеги — фото- и кинорепортеры — невероятно азартно ведут съемки через открытые дверь и иллюминаторы (хорошо, что их заранее пристегнули к тросу предохранительными ремнями — иначе братцы по «беспарашютному» способу уже оказались бы на месте посадки).

13 часов 48 минут. Высота около полутора тысяч метров. Все ближе «Союз» в сопровождении эскорта вертолетов.

Не забыть мгновенья: срабатывают двигатели мягкой посадки, корабль окутывается облаком дыма и пыли и очень плавно опускается на сухой карликовый казахстанский ковыль. Это произошло в 13 часов 51 минуту по московскому времени на поле восьмого отделения совхоза имени XXI партсъезда, в 54 километрах северо-восточнее города Аркалык, центра Тургайской области. Алексей Леонов и Валерий Кубасов пробыли в полете 142 часа 30 минут 53 секунды, совершив 97 витков вокруг Земли.

Вертолеты группы поиска садятся рядом, метрах в пятидесяти. Хватаю диктофон — и бегом вместе со всеми. Над нами рев винтов — это вертолеты с телеаппаратурой: Центральное телевидение ведет прямой репортаж по цветной программе (тоже впервые).

Специалисты в голубых комбинезонах уже хлопочут у прилегшего на бок спускаемого аппарата, опаленного плазмой, теплого, усталого, насторожившего усы еще не отстрелившихся антенн, подмигивающего встречающим ярким глазом сигнального маяка. Уже отстрелился гигантский парашют, поисковики свертывают его необъятное полотнище. Сейчас, вот-вот, откинется крышка люка-лаза (в полете он соединял спускаемый аппарат с орбитальным отсеком) и мы увидим экипаж

«Союза-19», чей подвиг восхитил весь мир.

...Крышка люка-лаза открыта. Первым появляется Валерий Кубасов, следом ступает на землю командир «Союза». Медики, как всегда, тут же завладевают экипажем — первый необходимый осмотр. Все в норме! Давление крови у Леонова 135 на 80, у Кубасова — 140 на 90. Волнение сказалось, естественно, на пульсе: у командира он 124 удара в минуту, у борт-инженера — 152. Но уже через полчаса все стало обычным.

Да, миллионы телезрителей смотрели прямой репортаж с места посадки. И волновались, и радовались. Но только стоя рядом с кораблем, с космонавтами в те минуты там, в степи, можно было в полной мере ощутить, пережить и навсегда сохранить и волнение, и радость, и счастье — всю неповторимость этой встречи...

Леонов берет у журналистов кусочек заранее припасенного мела и размашисто пишет на обожженном яростным небесным огнем борту спускаемого аппарата «Спасибо!» и ставит автограф. Вслед за ним расписывается Кубасов. Первые земные автографы. Первое послеполетное «летучее» интервью.

— Дорогие друзья! — Алексей Архипович говорит негромко, не торопясь. — Шесть суток мы работали точно по программе, не отступая от нее ни на секунду, ни на минуту. Трудно было, но все это уже позади, теперь мы снова на родной земле. Правда, нас качает, очень качает. Качает от радости, качает от усталости... Спасибо за постоянную поддержку, спасибо за ваше внимание.

Микрофон берет Валерий Кубасов.

— Я должен сказать, что это было великолепно — встретиться на орбите над нашей планетой. Мы протянули и пожали друг другу руки и выполнили все, что было запланировано...

Истекли отпущенные нам минуты.

— По бортам!

В последний момент успеваем сорвать по пучку ковыля рядом со спускаемым аппаратом. Это своеобразная журналистская традиция: увезти на память пучок травы, горсть земли, хранящих прикосновение космического корабля....

Вертолеты берут курс на Аркалык. С высоты хорошо видно, как людское половодье затопило площадь у аэровокзала. Цветы, транспаранты, знамена.

У трапа герои целинных земель вручают героям космоса традиционные хлеб-соль, девушки в красивых национальных костюмах преподносят букеты цветов. Алексей Архипович отломил кусочек от пышного каравая, с удовольствием попробовал и воскликнул (а в глазах чисто леоновская добродушная лукавинка):

— Отличный у вас хлеб! Вкуснее, чем в космосе!

Короткий митинг. Космонавтам вручают дипломы и ленты почетных граждан Аркалыка, надевают голубые атласные халаты, шапки, отороченные мехом. А Алексею Архиповичу передают и подарки земляков-кузбассовцев. Он не скрывает приятного удивления. В его руках — адреса-поздравления от жителей Листвянки и Кемерово, пятигранная шкатулка из полированного дерева с мозаичным гербом страны, а в ней — горсть земли, взятой у тополя, посаженного им в детстве, сувенир, искусно выполненный слесарями бригады коммунистического труда тов. Покровского с завода «Кузбассэлектромотор», почетным членом которой Леонов состоит уже десять лет, письмо друга детства Анатолия Шадрина и, наконец, фотография третьеклассников военного времени, которой, как мы знали, у Алексея Архиповича не было.

Через несколько минут, прощаясь у трапа самолета ИЛ-18, отлетающего в Байконур, он говорит:

— Кузбассовцы, спасибо, дорогие земляки, что вы и сюда попали, и сувениры привезли... Я думаю, что наши встречи еще впереди...

И они состоялись, эти сердечные, такие непринужденные встречи, теплыми июльскими днями семьдесят шестого года, когда на околоземной орбите нес трудовую вахту другой кузбассовец — Борис Волынов вместе с Виталием Жолобовым.

Но прежде я бы хотел рассказать о приезде Алексея Архиповича после его первого космического полета. Тогда, четвертого ноя-

бря шестьдесят пятого года, утро выдалось очень морозным и ветреным. А кемеровчан на проспекте Ленина, других улицах по маршруту от аэропорта до центра — густые плотные шеренги.

Алексею Леонову подают пушистую меховую шапку: в фуражке, в которой он прилетел, ехать через весь город, стоя в открытой машине, весьма рискованно. Тем более, что ликующие шеренги почти смыкаются и машина еле движется. Вот и говори после этого, что сибиряки — народ сдержанный, степенный!

...Листаю путевой блокнот той поры. Отрывочные, торопливые записи, пометки о встречах в Кемерове, Новокузнецке, с металлургами, шахтерами, химиками, пионерами. Обо всех тут просто нет возможности рассказывать подробно. А вот о той, что произошла на шахте «З-З-бис» (ныне «Центральная») в Прокопьевске и которая особенно запомнилась, попробую.

В тот день, пятого ноября, шахтовая многотиражка на первой странице поместила портрет Алексея Леонова и стихи рабочего поэта:

Проходчика, что сказкам вопреки
Шагал пешком космической трассой,
Приветствуют сегодня горняки —
Проходчики жемчужины Кузбасса!

В мойке Леонов облачился в шахтерскую спецовку. Осмотрелся, поправил каску, главной светильник:

— Ну, я готов, как заправский горняк!

Клеть плавно опускается на нижний горизонт.

— Приехали!

В глухую темноту недр далеко уходит бетонированный тоннель-коридор с лампами дневного света — квершлаг.

— Точно как в метро, — замечает Алексей Архипович.

Направляемся к забою, где заканчивает смену звено проходчиков во главе с известным горняком, депутатом Верховного Совета РСФСР Николаем Георгиевичем Кочетковым, которому через несколько часов на торжественном собрании будет вручена Золотая

Звезда Героя Социалистического Труда. Поворот, еще поворот — и, наконец, вот он, мощный забой. Здесь, около углепогрузочной машины, чем-то похожей на известный снегоподборщик (сейчас она стоит на пьедестале у въезда на проспект Шахтеров как символ славы горняцкого труда), и встретились два первопроходца — небесных и земных глубин.

— Я еще в Москве много слышал о ваших замечательных делах, — говорит Алексей Леонов, крепко пожимая руки Николаю Кочеткову.

— Мы рады видеть вас в нашем забое, — отвечает бригадир и спрашивает: — Вы впервые в шахте?

— Да.

— В таком случае надо совершить обряд посвящения в горняки, — под одобрительные возгласы и дружеский смех восклицает Кочетков.

Он набирает горсть угольной пыли и проводит ею по щекам космонавта.

— Ну, теперь я целиком ваш, — смеется Леонов. — Это просто здорово! Вот бы и сделать такое посвящение каждого новичка традицией!

(Следуя этому совету, одиннадцать лет спустя такой же обряд был совершен на другой прокопьевской шахте — «Красногорская» — над Борисом Волиновым, хотя он и не впервые спускался в забой, и Виталием Жолобовым, и им тоже пришлось по душе).

Николай Георгиевич рассказывает, как ведется проходка горных выработок, дает команду включить углепогрузочную машину. Гость с интересом наблюдает за ее работой, а потом просит разрешения пробурить шпур — глубокое отверстие, куда вставляется запал. Легко берет длинное электросверло, приставляет его к груди забоя и включает.

— Как по маслу идет. Молодец! Будто давно со сверлом дело имел, — отмечает Кочетков.

— Правда? А можно еще?

Так космонавт записал на свой подземный счет три первых своих шпура...

Из забоя они возвращались, оживленно обсуждая дела шахтерские...

А на торжественном собрании в драмтеатре, когда Николай Кочетков вручил ему нагрудный знак почетного шахтера, светильник и каску, Алексей Леонов заявил в ответ:

— Я сегодня впервые спустился под землю. Я видел героический труд горняков. Они создают наше счастье, наше богатство. Это исключительно дружный, мужественный, трудолюбивый народ. Возьмите Колю Кочеткова. Какой настоящий советский человек, как он красив душой! И люди в его коллективе чудесные. «Государство — это мы!» — вот как рассуждают в бригаде. Так пусть же больше будет новых Кочетковых у нас в стране!..

С тех пор и дружат бывший бригадир, затем директор шахты, а ныне председатель областного комитета народного контроля, и генерал, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

В книге же почетных гостей шахты остался леоновский рисунок парящего космонавта в скафандре и запись:

«Дорогие друзья! В канун праздника — 48-й годовщины нашей Родины позвольте поздравить Вас и пожелать самых больших успехов в Вашем трудном, почетном труде! Желаю Вам, дорогие шахтеры, крепкого сибирского здоровья!

С уважением — Ваш земляк А. Леонов».

Он не теряет связей с Кузбассом. По какому бы случаю ни прилетел, обязательно встретится с его тружениками. Он бывал в цехах Запсиба и Кемеровского комбината шелковых тканей, на участках Кедровского угольного разреза, у химиков, открывал новый корпус Кемеровского госуниверситета, выступал, отвечал на нескончаемые вопросы студентов и преподавателей, встречался с художниками, молодежью...

При встречах — в Звездном ли, во время ли посадки очередного космического корабля — прежде всего расспрашивает о наших новостях, огорчается неудачам, размышляет о их причинах, радуется очередным успехам. И не преминет передать письменную весточку. В моих блокнотах хранятся эти его автографы.

«Моим землякам, кемеровчанам. В канун 61-й годовщины Великого Октября с поздрав-

лениями и пожеланиями еще больших успехов в учебе, труде на благо нашего Отечества!

Летчик-космонавт СССР А. Леонов. 2.XI.78.»
«Мои землякам — героям земных глубин с глубоким уважением и пожеланием успеха во всех делах

А. Леонов. 19.08.79.»

В начале июня 1980 года в Джезказгане за несколько часов до очередной посадки космонавтов я рассказал Алексею Архиповичу, что в 62-й кемеровской школе в двух классах шла длительная борьба за право носить имя Воынова и Леонова. И добились-таки ребята! И вот на днях — выпускной вечер этих самых десятиклассников, а я, поскольку не раз выступал перед ними с рассказами о космонавтах, приглашен на незабываемое для них торжество, и что же мне говорить?

— Дело серьезное, — нахмурился Леонов. — Не до того сейчас. Подойди после события.

И только отзвучали на командном пункте радостные аплодисменты — с места посадки сообщили, что все отлично, — он повернулся ко мне:

— Есть лист бумаги? Нет, не блокнот, а большой?

И тут же, отмахиваясь от поздравлений и вопросов, чуть задумавшись, написал:

«Ребятам школы № 62. С поздравлениями по случаю первого и самого большого события в жизни! Вы уже взрослые и самостоятельные в выборе своего пути жизни. Пусть этот путь у каждого из Вас будет единственным правильным, нужный нашему Отечеству и радостен Вам!

С глубоким уважением Ваш земляк и товарищ А. Леонов. 8.VI. 80».

Посмотрел на часы и приписал: «18 ч. 07 м.» — точное время посадки космического корабля, который мы встречали.

На выпускном вечере факсимильный типографский оттиск напутственного послания Алексея Архиповича был торжественно вручен каждому выпускнику вместе с аттестатом зрелости. И, насколько я знаю, никто из получивших его до сих пор не подвел своего земляка.

И еще один эпизод, который мне, по крайней мере, не забудется.

Поздней весной поехали мы со старшей сестрой Леонова Раисой Архиповной в марийскую тайгу за колбой — так зовут у нас черемшу. Нарезали ее вдоволь в пойме извилистого крутобокого Барзаса. Делали это не без умысла: через два дня я должен был снова лететь в Казахстан.

Раиса Архиповна засолила солидную банку нашего сибирского деликатеса, а я набил им — в первозданном, так сказать, виде — свой объемистый портфель. Взял и несколько пучков ароматной целебной травы душички для чайной заварки.

Как же рад был этому Алексей Архипович, тем более, что накануне подоспела еще и посылка с колбой, переправленная с авиаторами по его просьбе кемеровскими друзьями! Он с горделивым удовольствием угощал всех гостей, журналистов, поисковиков (потом мне отбою не было от их заказов!) этими «экзотическими» лакомствами, приговаривая:

— Это с моей родины, из Кузбасса. Таежный чеснок. Лучше не придумаешь. Все витамины в нем! А чай? Сибирью пахнет! Это вам не что-нибудь...

Мало того, увез колбу в Байконур и положил пучок Юрию Малышеву и Владимиру Аксенову, отправлявшимся в новом корабле на совместную вахту с должностными «Салюта-6». Очень пришлось по вкусу космонавтам наша колба-черемша... Но все это было потом.

А лето семьдесят шестого выдалось щедрым на яркие, душистые сибирские цветы и травы. И с того момента, как АН-2, прибывший спецрейсом из Кемерова, подрулил к зданию Тисульского аэропорта, до взлета на следующий день — Алексея Леонова и его семью всюду встречали цветы. Дети с цветами у трапа самолета. Площадь у райкома партии, где буквально ранетке некуда было упасть, — в цветах (не только весь Тисуль собрался здесь — приехали из Кожуха и Москвы, старого Берикюля, Макарака...). На не предусмотренной остановке в Усть-Колбе по дороге в Листвянку («С восьмью утра

ждем!») — цветы... И потом, вечером, на лесистых прибрежных крутоярах озера красавца Большой Берчикуль, где в палатке ночевали Леоновы, — цветы, грибы — только шагни от костра, нагнись, раздвинь кусты...

Что чувствует человек после долгих лет, переполненных событиями, приехавший наконец в отчий дом, где сделал первые шаги и набил первую шишку на лбу, произнес первое «ма-ма»? О чем думает человек, переступая порог, которого босые пятки его, трехлетнего карапуза, касались в последний раз тридцать девять лет назад? Познание почти неузнаваемого. Смятение — и радость, грусть — и волнение...

Обыкновенный крестьянский рубленый деревянный дом. Пять окошек с голубыми наличниками и ставнями глядят с любопытством на запруженную селянами и гостями широкую улицу. Калитка. Невысокое крыльцо. Сенцы, Стайка во дворе... Только тем и отличается дом, что в палисаднике — мемориальная доска с барельефом.

Глуховато покашливая, переступает порог крестьянского дома не трехлетний Леник, а зрелый мужчина, который смело шагнул через «порог» корабля «Восход» в неизведанную пустоту открытого космоса и через «порог» «Союза» в американский «Аполлон». О чем думает, о чем вспоминает он сейчас, чуть задержавшись на пороге родного дома?

Огляделся. Кухня с русской печью. Горница. Фотографии на стенах. Уютно. Нынешние хозяева — Елена Ефимовна и Корней Митрофанович Загуменных, сестра Раиса Архиповна поясняют, что и где тогда, почти сорок лет тому, стояло: лавки, стол, кровати.

— А где моя люлька висела?

— Вон там, на кухне. Даже крюк в потолке сохранился.

Рассмеялся:

— Ага, меня так на кухню, а сами так в горнице!

И младшей дочке:

— Оксана, пойдем, за печку подержимся. Настоящая, русская!

— Хлеб-то, что на столе, в ней выпекали, — подсказала хозяйка.

— То-то он такой пышный и ароматный.

Приглашают за стол, уставленный домашними яствами. Алексей Архипович усаживает Оксану в уголок и хитро подмаргивает:

— Всегда я здесь сидел. И хорошо кушал!

— Точно, — поддакивает в тон ему Корней Митрофанович.

А Вике, старшей, на табуретку показывает по другую сторону стола:

— И здесь я тоже любил сидеть...

Хлебосольные хозяева от души угощают, просят и того, и другого отведать. Алексей Архипович им помогает:

— Оксана, Вика, попробуйте, какие блины необыкновенные — листовские!

— Алексей Архипович, по сто граммов выпьем? По рюмке?

— Рюмку — нет, а вот чуть-чуть можно, иначе будет преступление: как же так, впервые приехать в свой дом...

Он уже знает, что скоро здесь будет музей, где экспонаты расскажут о нем, о большой трудовой семье Леоновых. Он уже обещал прислать для музея свои картины. А пока — он просто в своем доме, за своим столом...

Но — пора: ждут земляки, полна ими улица до краев за окнами родного дома.

Нет, это был не митинг, как мы обычно его понимаем, — беседа заждавшихся друг друга товарищей по труду, по жизни. Алексею Архиповичу рассказали о делах колхоза имени XXII партсъезда, о его молодежи. Ветераны вспомнили добрым словом отца и мать Леоновых... Задушевно, откровенно шел разговор.

А потом говорил Алексей Архипович, подробно, с юмором отвечал на вопросы, критиковал кое за что комсомольцев (изба-то своя — сор мести можно!)

Думаю, уместно привести его выступление полностью, каким оно сохранилось на ленте моего диктофона.

— Дорогие мои земляки! Самое сердечное спасибо за встречу. Тридцать девять лет я слышал рассказы своих братьев, сестер, отца, матери о Листвянке, о доме, где я рос, об этом прекрасном месте. Тридцать лет я думал, что когда-то, наверное, попаду в эти места. И посмотрю на все это собственными

глазами — на этих людей, которые вместе с моим отцом и матерью начинали строить здесь новую жизнь, которые обживали этот сибирский край. Сегодня я увидел это гораздо ярче, чем предполагал. Я увидел много добрых, хороших людей, наших советских тружеников. Я увидел друзей своего отца, людей, проживших трудную, тяжелую жизнь и постоянно, каждый день вкладывающих свой труд в жизнь нашего государства.

Последний раз, когда я летал в космос, год тому назад, я очень тщательно наблюдал за этим районом. Я хорошо видел Кузбасс, видел Кемерово, реку Томь, искал свою Листвянку, но она затерялась где-то здесь, в тайге. А вот озеро Берчихуль было очень хорошо видно.

Земля наша голубая, самая красивая из всех планет Солнечной системы. Она обжита. Ни одна планета не имеет такого цвета: голубой, зеленый. А вот если разобраться, отчего она такая — голубая, зеленая, красивая, — то все истоки придут в наше сельское хозяйство, к нашим лесоводам, в наши деревни и села. Голубой цвет — это кислород — прежде всего поля и леса. А поля и леса — это прежде всего наши труженики сельского хозяйства, это вы, труженики села Листвянка. Вот и получается, что мы изучаем космос, наблюдаем за голубой планетой, а планету такой делаете вы. И пока вы будете жить, пока вы будете работать на этой прекрасной земле, наша Земля будет вечно «Звездой мироздания».

Построить космический корабль, построить ракету, запустить их, создать вычислительную технику, научить космонавтов управлять этой техникой... Это, конечно, все очень сложно. И это посылить такому могучему государству, как Советский Союз. Но если не будет у нас хлеба, мяса, — я думаю, никому в голову не придет строить космические корабли и запускать их. Вот почему начало всех начал — это хлеб, это руки тружеников, это ваши руки. И выше ничего не будет у нас на земле. Поэтому от имени всех космонавтов, кто летал, летает сейчас и будет летать, — спасибо вам, труженики, за ваши золотые руки!

Мне повезло, что сейчас, после начала новых больших экспериментов в космосе, меня отпустили и я приехал к вам. Я знаю, что сейчас над нами пролетает Борис Волинов, тоже кузбассовец, наш земляк. И, зная о том, что я сюда приеду, он просил передать вам сердечный привет, пожелать вам самых-самых больших успехов. И еще: и он, и я хотим отметить, что мы всегда говорим «сибирского здоровья вам», если хотим пожелать доброму человеку добра. Вот и я хочу, чтобы наших земляков-кузбассовцев и моих самых близких земляков из Листвянки никогда не покидало сибирское здоровье. Чтобы успех всегда сопутствовал вам, чтобы амбары всегда были полны хлебом, а скот был самым тучным...

Когда мы поднялись в космос, я получил телеграмму из Листвянки о том, что лесоводы приняли решение заложить гигантский парк на окраине села. И я уверен, что пройдет десять — пятнадцать лет и наши дети, внуки будут обязательно гулять в этом парке. Я знаю, как много сделано в этом селе, и знаю, сколько еще надо сделать. И уверен, что в ближайшие два-три года Листвянка станет одним из самых хороших сел на сибирской земле...

Каждый из космонавтов имеет свою родину, своих земляков, которые гордятся им, и он ими гордится. И каждый из нас считает, что самое святое — не уронить доверия своих земляков. Вот и я хочу вам сказать, дорогие мои земляки, что я никогда не уроню вашего высокого доверия. И то, что мне будет поручено партией и правительством, я всегда буду выполнять с честью, в меру моих знаний и способностей...

В окружении земляков идет космонавт по родному селу. Первая остановка — у обелиска тем, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной. 67 сыновей Листвянки отдали свою жизнь, чтобы сегодня был такой светлый, радостный день. Семья Леоновых возлагает к подножию обелиска с именами павших венки и замирает в минуте молчания.

Чуть поодаль — новостройки. По генеральному плану преобразуется Листвянка. Поднимаются благоустроенные дома, новая шко-

ла, детский сад, Дом быта, клуб, стадион. А с трех сторон села — парк на 97 гектарах — по количеству витков, сделанных «Союзом-19», как и обещали лесоводы. Там уже шелестят листвой на ветру тысячи молодых деревьев четырнадцати видов. В центре парка сегодня садят свои деревья и Леоновы. Сначала каждый свое, а потом общее, семейное — молодой кедр. Рядом трудятся и гости, и лиственницы...

Написал сейчас эти строки и остановился, подумал: вот ведь Кузбасс — край шахтеров, металлургов, химиков, а сколько же на земле его растет деревьев, посаженных космонавтами!

В парке Дружбы на Запсибе — дерево Павла Беляева. Он посадил его, когда приезжал в Новокузнецк на второй слет молодых строителей Сибири и Дальнего Востока, незадолго до своей безвременной кончины.

В Кемерове на аллее Героев рядом с липой Алексея Леонова — такие же молодые липы Бориса Волынова и Виталия Жалобова.

Первоклассником притащил Леник два тополиных прутика и посадил у барака под своим окном. Принялись, окрепли. Потомство пустили вокруг. Одно дерево несколько лет назад разбило молнией. А второе живет. И почти каждый раз, как удается Алексею Архиповичу выбраться в Кемерово, он выкраивает из плотной программы часок, чтобы побывать на месте, где стоял их барак, поздороваться со своим тополем, вспомнить детство... Может, и в этом тоже проявляется обостренное чувство Родины, которым щедро наделены настоящие люди?..

И, наконец, молодой леоновский парк у Листвянки...

Пожалуй, не много областей в стране могут гордиться таким «космическим лесом»!

...Но время неумолимо, настала пора прощаться с земляками. Последние крепкие, сердечные рукопожатия, объятья, пожелания.

До новых стартов, сибиряк гагаринского племени!

До новых встреч на земле Кузнецкой!

Зинаида Карпенко

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ СИБИРСКОГО УГЛЯ

МИХАИЛО ВОЛКОВ. Сотни лет бугровщики-курганщики раскапывали курганы в степях и предгорьях южной Сибири, извлекали золотые и серебряные украшения из древних погребений. Курганщики присматривались к «чуждским копьям» — заброшенным разработкам полиметаллических руд. Бугровщики становились рудоискателями.

Автору удалось обнаружить в Новосибирском архиве копию рукописи генерал-поручика Ганса Веймарна, командовавшего в 1760 годах пограничными войсками в Западной Сибири. В своем труде «Гисторическое, критическое и наставительное изъяснение о Колывано-Воскресенских золотого- и серебродоильных заводах и ко оным пренадлежащих рудниках» Ганс Веймарн сообщает, что рудоискатель Степан Костылев, «взяв с собою тобольского казачьего сына Михайла Волкова и быв с ним в местах, лежащих над рекою Алею и между оной и рекою же Чарыша, нашли в разных тамо урочищах медные ж руды».

Михайло Волков, бродя со Степаном Костылевым, находил не только медные руды. Неподалеку от Верхотомского острога Волков обнаружил в «горелой горе» выходы угольных пластов. Донесение группы Костылева о найденных рудах и угле в 1721 году поступило в Сибирский обербергамт — Главное горное управление Сибири, находившееся на Урале, в Уктусе. В следующем году в Уктус прибыли сами рудоискатели, привезли образцы руд и угля, которые были отправлены в Петербург, в Берг-коллегию, ведавшую горным делом в России.

В те годы открытие М. Волкова не нашло практического применения, но оно вряд ли было случайностью. Тогда же, в 1721 году рудоискатель Берг-коллегии Г. Капустин нашел каменный уголь на Дону, а И. Палицын и М. Титов обнаружили уголь в Подмоскovie. Металлургические заводы центральных уездов уже начали испытывать недостаток древесного топлива. Берг-коллегия в 1722 году предложи-

ла В. Геннину, ведавшему заводами Урала и Сибири, «иметь старание в приске каменного угля, как и в прочих европейских государствах обходятся, дабы оным лесам теми угольями было подспорье». В. Геннин не проявил особого старания по приску каменного угля. Михайло Волков был отправлен на уральский Подволошный рудник, и следы его затерялись. Но кузбассовцы не забывают М. Волкова. На площади им. М. Волкова в центре города Кемерово возвышается памятник первооткрывателю кузнецкого угля. На высоком мысу над Томью в том же городе установлен обелиск в честь М. Волкова. Именем М. Волкова назван один из угольных пластов Кемеровского рудника.

М. В. ЛОМОНОСОВ О КУЗНЕЦКОМ УГЛЕ. Медленно и трудно разведывались и осваивались кузнецкие угли. Ученый путешественник Д. Мессершмидт, побывавший в Кузнецке в 1721 году, наблюдал горение угольного пласта в береговом обрыве при впадении в Томь реки Абашевы, подобрал куски каменного угля, валявшегося под «огнедышашей горой» (так Д. Мессершмидт наименовал это место). Самого угольного пласта Д. Мессершмидт так и не разглядел.

Предпринимчивый уральский промышленник Акинфий Демидов проведаль, возможно от начальника Сибирского обербергамта голландца В. Геннина, что на Томе есть уголь, который «подобен голландскому», и решил прибрать этот уголь к рукам. Берг-директорнум, сменивший Берг-коллегию, в 1739 году разрешил специальным указом А. Демидову поиски «впредь показанного угля и прочих металлов и минералов». Дело и ограничилось указом.

М. В. Ломоносов в 1745 году впервые зафиксировал наличие каменного угля под Кузнецком в каталоге коллекций Минерального кабинета кунсткамеры Академии наук, где упоминается «каменное уголье, светящееся, слесоватое от реки Абашевы».

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ КУЗБАССА. Лишь через 120 лет после открытия М. Волковым каменного угля на берегах Томь видный геолог Петр Александрович Чихачев (1808—1890), чиновник по особым поручениям при штабе корпуса горных инженеров, отправился в научную командировку «для предварительного обследования в геогностическом и вообще в ученом отношении юго-восточной части Алтайского края, доселе почти безвестного».

П. А. Чихачев составил первую геологическую карту этого угольного бассейна и предложил назвать его Кузнецким «по имени города, находящегося в его южной части». Опубликовать результаты своих исследований в России Чихачеву не удалось. Его «Научное путешествие по Восточному Алтаю» было напечатано во Франции всего в 500 экземплярах. Один экземпляр этого редкого издания сохранился в библиотеке старейшего в Сибири Томского университета, где с ним и удалось познакомиться автору этих очерков.

Труд П. А. Чихачева получил высокую оценку в академических кругах Франции. Парижская Академия наук учредила премию имени Чихачева за наиболее выдающиеся геологические исследования в Азии. Премия имени П. А. Чихачева присуждается и в наши дни: дважды ею награждался видный советский геолог, академик В. А. Обручев.

ГРУППА Л. И. ЛУТУГИНА. Большая часть Кузбасса до 1917 года была владением императорской фамилии и находилась под управлением кабинета его императорского величества. Царский кабинет так и не сумел развернуть добычу кузнецких углей и в 1912 году предоставил вновь созданному Акционерному обществу Кузнецких каменноугольных копей (КОПИКУЗу) монополию на их разработку в течение 60 лет, или другими словами, вплоть до 1972 года! Правление КОПИКУЗа не имело представления о том, где именно следует закладывать угольные шахты. Обратились к видному геологу, профессору Л. И. Лутугину.

Леонид Иванович Лутугин (1864—1915) был не только виднейшим в предреволюционной России специалистом по геологии угля, но и человеком передовых политических убеждений. Свыше 15 лет Л. И. Лутугин руководил геологическими съемками в Донецком бассейне. За геологическую карту Донбасса, представленную на Всемирную выставку в Турине в 1911 году, Л. И. Лутугин получил Золотую медаль. Исследования Лутугина высоко оценивались как русскими, так и зарубежными геологами. Но прогрессивные политические выступления Л. И. Лутугина в революционном 1905 году и годы реакции вызвали такое раздражение в правительственных кругах,

что Л. И. Лутугину пришлось сначала уйти из Петербургского горного института, а вслед за тем, в 1913 году, оставить работу и в Геологическом комитете. В том же году КОПИКУЗ пригласил Л. И. Лутугина провести исследование угольных месторождений Кузбасса, а точнее — указать наилучшие места для закладки шахт, чем Лутугин прославился еще в Донбассе.

Однако Л. И. Лутугин не собирался идти на поводу у правления КОПИКУЗа и выдвинул программу широких геологических исследований Кузбасса, результаты которых могли бы публиковаться, а не сохраняться в монопольном распоряжении КОПИКУЗа. Правлению КОПИКУЗа пришлось принять эти требования — другого выхода не было. Весной 1914 года в Кузбассе прибыла группа геологов — Л. И. Лутугин и его ученики, будущие профессора А. А. Галеев, С. В. Кумпан, В. И. Яворский и другие молодые выпускники и студенты Горного института, исключенные из института за революционную деятельность. Группа Л. И. Лутугина развернула геологическую съемку Кузнецкого бассейна, результаты которой позднее получили самый положительный отзыв академика В. А. Обручева, по словам которого «в первый же год была подсчитана общая мощность продуктивной толщи, которая была подразделена на 6 свит; в ряде разрезов прослежено отношение ее к нижнему карбону, было выяснено своеобразие химической и физической природы углей. Намечены были также основные черты тектоники» (В. А. Обручев, История геологического исследования Сибири, период четвертый — 1889—1917. М.—Л., 1937, с. 29—30). Исследования продолжались в следующем году. Здесь же в Кузбассе, на Кольчугинском руднике, Л. И. Лутугин скончался 17 августа 1915 года. Похороны Л. И. Лутугина в Петрограде представляли собой настоящую демонстрацию, в которой участвовали до 10 тысяч человек. На одном из венков, которые несли за гробом, была краткая надпись — «1905 год. Л. И. Лутугину».

Комитет по увековечению памяти Л. И. Лутугина, в который вошли А. М. Горький, В. Г. Короленко, другие передовые писатели, ученые, общественные деятели, предпринял сбор средств на народный университет имени Л. И. Лутугина, давший 350 тысяч рублей.

Имя Л. И. Лутугина носит один из угольных пластов Кемеровского рудника. Геологи, вышедшие из школы Л. И. Лутугина, после 1917 года успешно продолжали исследования, начатые в 1914—1915 годах, способствовали становлению новой социалистической угольной промышленности в Кузбассе.

Людмила Ходанен

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЕКАТЕРИНЫ ДУБРО

Художественный мир сборника «Оглянись, расставаясь» не масштабен и не многолик. Он умещается в рамках небольшого городка, в котором то идет снег, мягко и пушисто покрывая улицы, прохожих с их тревогами и ожиданиями, то взвихривается шальная февральская метель, то наступает оттепель, с весенним солнышком принося надежды и радости. Скромно и немного грустновато живет на окраине городка сказка.

Судьбы героинь Альбины и Насти — немного похожи, но скорее не внешней событийной стороной, а внутренним смыслом, который открывает в них автор. Их сближает требовательное и искреннее отношение к людям, глубокий подлинный интерес к искусству, отстаивание автономности собственных болей и тревог, которые они доверяют далеко не каждому. Роднит их и одиночество. Такие героини — современные женщины — уже вошли в нашу литературу с творчеством И. Грековой, М. Ганиной, С. Токаревой и других. Мы знаем и «деловую женщину», погруженную в будни работы, производства, и творческую личность, ищущую высокой духовности, уходящую от пошлых мещанских определений сугубо женских «долгов» и обязанностей. Знакома и другая крайность ее судьбы, не редкий итог совершённого выбора, — тоска и печаль невоплощенного чувства, горечь одиночества, да еще порой черство и грубо раненного бестактным вопросом нестремимого обыватель-

ского здравомыслия. В той или иной мере все названное входит в круг раздумий автора и его персонажей.

Обе повести сборника — «Вчерашний ветер» и «Тихий привет» — о любви. Она является здесь не в роковом поединке душ, не в счастливой или несчастной истории. В повестях Е. Дубро выбрана иная форма — преимущественное внимание внутренним переживаниям, монологи падающие с собой, попытка умом объяснить, объяснить и вместе с тем сберечь, не погрузившись в рефлексию, маленький огонек чувства, не замкнуться в себе. В избранном типе повествования проступает и более глубокое понимание судеб и характеров молодых женщин — неразделенность их чувств, глубокая внутренняя культура, то, что мы в повседневности часто называем «порядочностью», «самостоятельностью», и вместе с тем, почти детская раппность их душ.

Одно из привлекательных качеств Альбины, героини повести «Вчерашний ветер», в известной степени связанное с ее профессией библиотекаря, — погруженность в мир современной литературы и искусства. Начитанность и знания уживаются в ее сознании с глубоким вдумчивым отношением, оценкой, пониманием, интересным не только для себя, но и для других.

Именно через мир искусства во многом приходит к обоим героиням сознание невозможности для себя полумеры счастья, неприятие компромиссов в отношениях с людьми, высокая требовательность к себе.

* Екатерина Дубро. «Оглянись, расставаясь». Кемеровское книжное издательство, 1982.

А кто они, которых автор поставил рядом с ними — сослуживцы, друзья, любимые? Вряд ли можно здесь говорить о рельефно очерченном окружении. Киноклуб Марка, где спорят о новых фильмах и романах, — слишком идеальный оазис общения людей, близких по взглядам на жизнь, художественным вкусам и оценкам. Интереснее получилось редакционно-журналистское окружение Насти, сотрудницы отдела писем. История молодой распадающейся семьи, где мужу скучно видеть нечесанные кудлины жены, ее вечные сумки, кошелки, тревоги за детей, анонимные жалобы и безответные письма — все отдельные штрихи той повседневности, в которой работает героиня, утверждая свое честное, умное, неформальное отношение к людским бедам и заблуждениям.

Но есть у этих женщин другая жизнь, скрытая от большинства, есть и герои, любимые, которым они никогда не скажут о любви, потому что у них маленькие дети, внешне благополучные семьи, и еще почему-то, что сразу не выразишь, но что останавливает. А кто они, эти любимые? Саша Горяшин в повести «Вчерашний ветер» еще подростком ощутил свою особую мужскую привлекательность. И теперь он безропотно отдает себя в руки сильных, властных женщин. Насколько он беднее духовно, ниже Альбины. Он живет рядом со своей семьей, время от времени лоя на себе пристальный взгляд жены, которая, «не теряя бдительности», то слишком часто звучащую пластинку нарочно повредит, то домашних обедов лишит. Денис Арефьев («Тихий привет») считает «сердечные разговоры» простой тратой времени, хотя он более внимателен, тактичен. Но что ведет его к общению с Настей, к интеллектуальным беседам в компании Марка? Мы далеки от мысли предполагать, что это профессиональный интерес к драматической истории, после которой она пережила и психиатрическую больницу, и в другой город уехала. Не назовешь это и житейским любопытством, беззащитным и нагловатым в своей обязательной осведомленности. Автор не объясняет до конца, оставив на долю читателя догадки, предположения. Как возникает влечение к человеку, в чем секрет привлекатель-

ности, обаяния личности? И как спастись от ошибки, не приняв видимое за сущность? Эти вопросы скорее поставлены в историях Насти и Альбины. Наверняка можно сказать одно: другая, внутренняя жизнь, помимо самоанализа, дает зрелое и глубокое суждение о человеке, умение видеть и сказать себе о нем правду, даже если это любимый.

Героини Е. Дубро порой беззащитны против неистребимой людской пошлости, обывательских оценок. Но они привлекают своим тяготением к миру прекрасного, какой-то поразительной способностью прозревать и понимать беды и тревоги другого, неизменно сохраняя в душе для этого лучшие альтруистические чувства. А так ли уж это современно? Не есть ли это частица веками теряемого и вновь воспаряющего идеала вечной женственности, умной и сердечной одновременно?

Непохожесть, неординарность всегда трудна. Может, поэтому рядом с героинями повестей Е. Дубро живет, то нарастая, то стихая, неминуемая печаль — как мелодия «Тоунельского лебедя» Сибеллуса, которую слушает Альбина и перед которой недоумевает Горяшин: слушаешь, мол, не то. А она живет рядом, горестная и светлая в своей искренности. Истоки этой печали далеко в прошлом: у Насти это смерть друга юности, получившего смертельную дозу рентген, для Альбины это тяжелейшая неизлечимая болезнь. Но они звучат приглушенно, отчетливее и яснее непроходящая грусть одиночества, поиски преодоления однообразного круга повседневности.

Воспринимающее сознание героинь раскрыто в самом широком диапазоне явлений художественной и общественной жизни, в отклике на судьбы других, в самоанализе. Здесь им доступен и подлинно высокий смысл творчества Б. Шоу, Э. Хемингуэя, П. Вежинова, Ю. Нагибина, в сфере их понимания и оценок современное интеллектуальное кино. Но есть и другое. И смысл сказать о нем тоже есть. Мудрость прозрения и оценок граничит с созерцательностью. Автор стремится найти для своей героини сферы деятельного использования энергии души и ума, но эти усилия не всегда убедительны, как порой мало убеждает сфера реальной жизни:

«...голубоглазая библиотекарша с копной светлых волос», — такой видит Алю жена Горяшина.

«А чего хочется вам?» — спрашивала она очередного читателя... «А какое настроение у вас сейчас?» — задавала она один из своих не совсем обычных для библиотеки вопросов. «Так...» — улыбался неопределенно читатель. — «Тогда, может быть, стихи? Хотите...» — И называла имя поэта... Такой видит ее Горяшин, печальной оттого, что к имени поэта примешались досужие разговоры, страждущей о невозвращенной книге. Но как-то мимо реальности бытия героини прошли самые острые проблемы ее работы, ее профессии: потрясающая в своем варварском отношении к книге мода на обложки и серию, колоссальные потери в массовых библиотеках, вследствие которых прекрасные авторы так и остаются за семью замками для простого читателя. А что стоит, с другой стороны, лавина молодежных интересов к детективу, фантастике, порой самого низкопробного качества. Как легко «перевоспитывает» Альбина своего друга: «К книгам он собирался, как на праздник... И он не сопротивлялся, даже во время размолвок, когда в ответ на просьбу выдать такую-то книгу частенько выдавала другую. Детективов, например, не давала...»

Мы не случайно сказали о сфере реальной жизни героини. Дело в том, что образность художественного мира Е. Дубро не во всем вмещается в рамки этого понятия. Пафос ее повестей в ином. Это желаемое, мечта о прекрасном человеке, глубоком чувстве. Отсутствие их в жизни героинь, не согласных на полумеры, а может быть, особенности художественного опыта самого автора обусловили эту черту. И сила этого идеального видения мира достаточно значительна.

Несомненно, что автор имеет на это право. О двух, изначально присущих искусству типах творчества, воссоздающем и пересоздающем,

один из которых обязательно преобладает в художественном даровании поэта, писал в свое время Белинский. Принято относить пересоздающее — к романтизму. Давно ушли в прошлое споры о нежизненности этого мировосприятия. История искусства лучше всякой критики убеждает, что мир фантазии, если это не бессмысленный хаос расколотого больного сознания и не слащавая выспренная идиллия, а выражение глубокого личного мировосприятия, может быть подлинно человечен и близок в своей идеальной устремленности самым лучшим порывам личности. Именно к этому типу творчества тяготеет художественное дарование Е. Дубро.

Мир мечты... С ним связана и вторая значительная часть сборника — сказки о ледяном дворце, о маленьком домике на окраине города. Персонажи этих сказок — очеловеченные чувства: Грусть и Добро, Страх и Горе, Одиночество и Надежда. Они живут в прозрачных голубых залах рядом с принцессой Несмеяной, которой так холодно среди этого вечного льда в своем одиночестве. Сказки связаны с повестью не только вариацией одного сюжетного мотива — неразделенной любви, печального расставания, но и символикой белого цвета падающих снегов, ночным небом и блеском лунного света, который зажигает в ледяных узорах замороженных окон таинственную и прекрасную зимнюю фантазию. Есть у автора и свое излюбленное время, «когда тихий снег устилает крыши, мостовые и скамейки в утнувших парках... когда ты видишь в черном небе желтую луну... то не луна, то золотая монетка надежды; в ожидании всех возвратов — твоих и моих — ко всему несостоявшемуся. Так надеются вернуться к морю еще раз, если бросить в него на прощание денежку... А на стене, высвеченной уличным фонарем, причат безмолвно тени перепутанных мокрых ветвей оконного дерева. Но то не ветер и не тени от ветвей — то мое смятение...»

ЖАЖДА СВЕРШЕНИЯ

V

Первую книгу стихов Валерия Ковшова «Свет внезапный»,* вероятно, как и всякую первую книгу, раскрываешь с особым интересом: какой поэт и человек откроется нам в ней, какими чувствами и мыслями он нас обогатит, какой мечтой вдохновит?

Думаю, что чуткий к поэзии читатель не будет разочарован этой небольшой книжкой. За ней, несомненно, стоит человек, поэтически одаренный, ищущий, не удовлетворенный собой, с любовью и тревогой думающий о родном крае, о нашем времени. В лучших стихах Валерия Ковшова подкупает искренность чувства и мысли, живая связь с родной землей, органичность поэтического языка, естественность интонации. Это добротные лирические стихи. Они не лишены отдельных недостатков — и об этом еще будет речь, — но поэтический плацдарм, завоеванный в них поэтом, создает хорошие предпосылки для будущей работы.

О чем же пишет Валерий Ковшов? Мы найдем в его книге мотивы, достаточно традиционные для нашей молодой поэзии — овеянные чистой и теплой грустью воспоминания о детстве, о первой любви, языческую радость приобщения к жизни природы, родных лесов, полей и рек, жажду познания мира и своего места в нем, жажду свершения. И может быть, именно жажда свершения, взлета к вершинам своих возможностей наполняет стихи В. Ковшова беспокойством и тревогой, романтическим порывом к звездам. Этой неукротимой юношеской жадой пронизаны многие стихи поэта — «Белым мальчишкой бродил я по черному полю...», «Птица», «Вопросы», «Забудь меня, праздное тело!» и другие. Поэт страстно хочет испытать силы своей души и ума в большом и достойном деле — и рождаются строки:

Пробиться бы недремлющим умом
к пределам свежей ясности и силы,

* Валерий Ковшов. «Свет внезапный». Кемеровское книжное издательство, 1983.

вибрируя тоскующим крылом
над скопищами радостей бескрылых!

Эта тема приводит поэта к философским раздумьям о месте человека во Вселенной, рождает желание выйти «к Вселенной с живым разговором на равных»:

Зреет и крепнет в желаниях воли решимость,
страх одолев в поединке
с пределом познания,
вырвать пространство
для вечнозеленой вершины
Дерева Жизни, проросшего в тьму
мироздания.

Но зов земли древнее и сильнее, и поэт открывает для себя важную истину: для души, окрыленной поэзией, есть много больших и нужных дел на земле, и сама поэзия как обновление жизни, ее преображение по законам красоты — одно из самых важных дел. Поэтическая зоркость, помноженная на горение сердца и пылкость ума, сообщает лучшим стихам Валерия Ковшова те высокие художественные достоинства, которые являются бесспорным признаком истинной поэзии. Многие стихи хотелось бы привести целиком — в них нет ни одного лишнего слова. Это поэзия, идущая из глубинных родников жизни и души. И даже кое-где встречающиеся есенинские интонации и мотивы воспринимаются естественно и органично как личное открытие поэта. Таковы, например, стихи «В памяти давнего детства...», «Я помню желтые овины...», «Дома», «Воздух легкий, воздух вольный...» и другие. Не могут не радовать такие чистые и точные строки: «Одинокая осина, дочиста зимой раздета, достает с небесной сини золотые капли света. Я и сам ловлю в ладони свет не тающий и нежный, будто сердце мое тонет в первый утренний подснежник».

Валерий Ковшов хорошо чувствует не только прекрасную гармонию, но и трагические противоречия, трудную диалектику жизни. Поэт

Я живу недалеко от искитимского рынка, иногда заглядываю туда по воскресеньям, вижу, как шустро и выгодно, по спекулятивным ценам торгуют модными книжками современные «джинсовые» молодчики. Держатся с форсом, прикидываются интеллектуалами, а по глазам и разговорам видно, что перед тобой расчетливые невежды, рвачи, удобно скрывшие свои корыстолюбивые интересы под романтической маской книголюбов.

А как многолик и извратлив сегодняшний тунеядец! Сколько с виду уважительных причин умеет он привести в оправдание своей бездеятельности, нежелания приносить пользу обществу!

Нельзя мириться с этим позорным явлением! Всем захребетникам народ требовательно напоминает: «Кто не работает, тот не ест!»

Набила оскомину тема об одном злейшем пороке, о коварных проделках «зеленого змия». Сатирик не вправе пройти мимо него, большие неприятности приносит пьянство производству, семье, окружающим, не говоря уже об искалеченной судьбе самого алкоголика.

Сатирик — не врач-нарколог, но и его слово по-своему лечит, приковывает к нашей общей беде пристальное внимание.

Кое-кто склонен думать, будто главная забота поэта-сатирика — рыться на задворках будней, собирать «жареные» факты, старательно их выискивать. А факты, способные вызвать живой интерес, чаще всего под ногами, за ними не надо далеко ходить.

Правда, выпадают и редкие, сенсационные случаи, дающие косвенно толчок к любопытным размышлениям. На памяти у кемеровчан не очень давнее происшествие в передвижном зоопарке, обошедшее не только местную, но и всесоюзную прессу, — бегство и купание бегемота в речушке Искитимке.

Долго пробыть он там не мог — вода загрязнена всяческими отходами, опасна для здоровья. Если бегемота из сказки Корнея Чуковского пришлось «тащить из болота», то этот — покинул его добровольно.

Происшествие в зоопарке послужило мне поводом лишний раз заострить внимание общественности на проблеме очистки водоемов, на необходимости бережного отношения к природе.

И о некоторых печальных вещах надо, помоему, говорить с чувством оптимизма, задора, с верой в возможность исправления ошибок. Я за лаконичное, доходчивое, искрометное слово. Пусть читатель сначала посмеется, а потом задумается над тем, что же его развеселило, так ли уж это смешно, нет ли здесь второго, а то и третьего плана.

Когда «корпеешь» над сатирической миниатюрой,

короткой басней, пародией, разумеется, не ставишь себе целью непременно кого-то позабавить, но, если от твоих острот людям скучно, выходит, ты метил из пушки по воробьям, сам не уяснил толком, чего хочешь, чего добиваешься. И краткость — не всегда сестра таланта.

Опасно ли замыкание на избранном жанре? Опасно, если не пытаться раздвинуть его границы, все время вращаться в кругу привычных сюжетных схем. Известно, что все жанры хороши, кроме скучного. Все зависит от самого исполнителя, его жизненного и творческого багажа, способностей, целевой установки.

Лучшей школой для себя считал и считаю многолетнюю газетную практику, возможность бывать в командировках, знакомиться с письмами трудящихся, встречаться с ними лично.

Обожаю миниатюру. Здесь пружина мысли сжата до предела, каждое слово на учете, заключительная строка подобна выстрелу.

Редко прибегаю к гиперболе, фантастике. Предпочитаю парадокс, аллогизм, когда они естественны, жизненно достоверны. Какой бы странной ни представлялась, на первый взгляд, ситуация, она призвана убедить читателя. Это применимо и к моментам, когда действующими лицами выступают звери или вещи. Как сказал Сергей Михалков:

Вот пишешь про зверей, про птиц
и насекомых,
А попадаешь все в знакомых.

Для сатиры нет запретных тем, поле ее охвата — вся жизнь с ее многообразными проявлениями, где забавное и грустное, высокое и низменное могут долгие годы сосуществовать, сосуществовать.

На встрече с читателями меня спросили, почему не пишу о любви. Я прочитал в ответ басенку «Комплимент»:

Верблюд в восторге
от своей симпатии:
— Ты всех верблюдиц,
милая,
горбатее!

Вот вам идеал красоты, трогательное благоговение перед возлюбленной, равной которой нет во всем мире, по крайней мере, для очарованной ее великолепным горбом Верблюда.

Универсального творческого ключа нет, в каждой миниатюре он свой и не должен бросаться в глаза. Каламбур, оригинальный сюжетный ход — не самоцель, а лишь средство для наиболее яркой, убедительной передачи

того, что тебя взволновало, что остановило твоё внимание.

Отвратительнейшим человеческим пороком считаю стяжательство, пагубное стремление стать добровольным рабом вещей в ущерб своей духовной сути, заветным мечтам юности. Человек порой не замечает, как ради барахла, мнимого благополучия обкрадывает себя, предаёт такие бесценные ценности, как честь, совесть, искренность, скромность, элементарная добропорядочность.

Жанр, как человек, имеет свою пору взлёта и затухания, заката. Так, на мой взгляд, случилось с басней в её классическом, канонном, понимании. В 50—60-е годы басня с развернутым сюжетом, прописной моралью стала популярна благодаря талантливым усилиям Сергея Михалкова, наполнившего любимый народный жанр современным содержанием, обновившим её характер. Достаточно вспомнить его знаменитые басни «Лиса и Бобер», «Заяц во хмелю», чтобы убедиться в этом.

Сколько они породили бойких подражателей, эпигонов! Сам жанр был, в конце концов, опошлен, низведен до примитивного рифмачества, когда любое копеечное житейское происшествие облекалось в басенную форму.

Возможно, появится новый талант, который продолжит дело, начатое Михалковым, если будет в этом жизненная необходимость, если к этому призывает само время. Искусственные же попытки возрождения никому не нужны, неизбежно терпят крах.

А вот короткая басня, тяготеющая больше к эпиграмме, экспромту, имеет право на существование и сейчас, заслуживает всяческого внимания как боевое, нестареющее оружие. Тут бесспорна заслуга другого советского сатирика — Сергея Смирнова. Он большой мастер маленьких шедевров, которые нельзя не запомнить с первого же прочтения:

И нюх плохой,
И даже масть плохая,
Но Бобик стал
превыше всех собак.
Как? Почему?
А он чихает,
Когда хозяин
Нюхает табак.

* * *

«Уж сколько раз
Твердили миру
Об уважении к мундиру». —
Он уважається, пока
Туда не втиснут дурака.

* * *

Осел Ослу помочь бессилён
В приобретении извилин.

Мое мнение о судьбе современной басни, вероятно, спорное, не все с ним согласятся, но я опять исхожу из горького собственного опыта. Сам начинал с классической басни, под её знаменем прошли мои студенческие годы, занятия в литературном объединении городской газеты Новокузнецка. Это была суровая, но прекрасная школа, на многое открывшая мне глаза, приобщившая меня к творческому поиску, привившая вкус к поэтическому слову. Вспоминаю об этих годах с благодарностью.

Как тогда всеобщее внимание вызывала басня, так теперь имеет успех литературная пародия. Жаль, если и её дискредитируют любители поискать комические строки в чужих стихах.

Пародия — не повод позубоскалить, это вполне серьёзное средство в борьбе за честную творческую работу. Она бьёт по ложным вкусам, мелкотемью, не должна оскорблять человеческого достоинства автора, попавшего под её прицел. Пародия, имитируя его манеру письма, внешне став на его же идейно-художественную позицию, спорит с ним, что-то отрицает, что-то утверждает.

Пародия — своего рода остроумное, изысканное, в чём-то озорное, задиристое приглашение читателя к разговору о чьих-то произведениях, творческом лице, методе.

Хотя допустима и просто пародия-шутка, рассчитанная на улыбку, приятное общение на дружеском литературном вечере.

Помню, прочитал я сборник стихов Александра Говорова «Свадьба». Вот поэт восторженно пишет о женщине по имени Матрена, а восторг выходит фальшивый, ходульный, оскорбительный для неё. Ритм стиха прыгающий, ухарский, в каждой строчке крикливые междометия, понукания, будто слово тут не о человеке, а о скаковой лошади на ипподроме:

Эй, Матрена, Матрена,
Твоя хата, э-гей!
Аржаная солома
До самых бровей.

Не готов автор к большой, ответственной теме, подумалось мне, не по плечу взял ношу, и родилась пародия «Вздохи у калитки», знакомая читателю по публикации в альманахе «Огни Кузбасса» и в одном из моих сборников.

Осмеивая пороки, сатирик призван воспитывать в героях положительные свойства. Отрицая, он утверждает, имея в виду доро-

гие большинству идеалы. Иначе это будет не сатира, а злопыхательство, брюзжание в связи с теми или иными недостатками. Социальная направленность сатирического жанра выражается, как правило, четко, определенно, недвусмысленно.

Наивно полагать, что хлесткое слово, даже попавшее в цель, моментально кого-то исправит, облагородит. Воздействие здесь гораздо сложнее, длительней, оно нередко болезненное, мучительное. Но то, что порок узнан, предан гласности — уже значит немало. Еще Гоголь заметил, что насмешки боится и тот, кто уже ничего на свете не боится.

Две-четыре боевые рифмованные строчки могут вызвать больший резонанс, чем, скажем, пространная статья, написанная на ту же тему.

Несколько слов о водоразделе между сатирой и юмором. Теоретически он существует, на практике же его трудно уловить. Когда пишешь, думаешь совсем о другом — как острее, интересней раскрыть тему, как лучше донести замысел до читателя.

Сейчас меня занимает проблема взаимоотношений детей и родителей, семьи и школы. Сложно наперед загадывать, строить планы, но хотелось бы написать книжку о смешных и не очень смешных случаях из школьной жизни, о горе-родителях, о тех, не всегда здоровых увлечениях, которые проникают в ребячью среду, действуя на нее не лучшим образом.

Хочется также написать стихи для взрослых с глубинным подтекстом, где бы на первом плане была не сама сюжетная канва, не какой-то потешный эпизод, а его морально-философская основа. Заглянуть бы в суть вещей, обнажить бы душу явления.

Избранный мной жанр нравится мне. Будет ли любовь взаимной, долго ли продлится — эти сомнения не покидают меня никогда, тревожат постоянно. Какую-то надежду, веру в право быть «колючим» вселяет народная мудрость. Она гласит:

Смеяться вовсе не грешно
Над тем, что кажется смешно.

Алла Голованова

ВЗРОСЛЫХ НЕ ПОЙМЕШЬ

Ольга Петровна, или просто Оленька, обливалась в учительской горячими слезами. Ее утешали коллеги, но это помогало плохо. Оленька закатывала глаза и видела на стене строгое лицо Макаренко. Под его пронизательным взглядом Оленька чувствовала себя не учительницей первого «Б», а первокурсницей педучилища, которое она с отличием окончила три месяца назад. Директор школы искал выход из создавшегося положения, но пока не находил.

— Заявление напишу, — лепетала Оленька. — По собственному... Так работать нельзя!

— Где он? — спросил директор авторитетно.

— Там... — махнула рукой Оленька. — Сидит...

Зазвенел звонок. Все бросили Оленьку, засуетились, зашуршали тетрадями, журналами, таблицами, картами и растворились по кабинетам, унося на уроки искреннее сочувствие к начинающему педагогу.

Оленька высморкалась, припудрила покрасневший нос и проглотила слезы:

— У меня еще рисование...

Директор остался один. Он думал. Так ничего и не придумав, он поправил галстук, распрямил спину и, напевая любимую песню «Марш коммунистических бригад», спустился по лестнице.

На первом этаже огляделся, прислушался.

— Сережа, внучек, вылез! — донесся до него чей-то рыдающий голос. Директор решительно зашагал к черному ходу.

— Вылез, голубчик! — умолял голос.

Сережина бабушка стояла на четвереньках, засунув голову в темное пыльное пространство между лестницей и полом.

— Пожалей бабулю, деточка, вылез, а бабуля тебе пирожек с маком настряпает...

— Не хочу с маком, — сказал Сережа, — лучше торт «Наполеон».

— Хорошо, миленький мой, согласна, — застонала бабушка.

Директор солидно кашлянул и сказал:

— Здравствуйте. Значит, так...

Бабушка вытащила голову из-под лестницы и сняла с носа паутину:

— Да так вот уж... Как поживаете, Антон Егорович?

— Спасибо, хорошо, — ответил Антон Егорович, помогая бабушке встать.

— О господи! — всхлинула бабушка. — Внук вот. Из первого «Б».

— Будем принимать меры, — сказал директор. — Давно сидит?

— Два урока и две перемены.

Антон Егорович заглянул под лестницу и поинтересовался:

— Ну и как тебе там сидится?

— Нормально, — ответил Сережа. — А у вас мел на штанах.

Директор отряхнул брюки и поинтересовался снова:

— Долго еще сидеть будешь?

— Нет, немного посижу и лягу, — последовал ответ.

— Он же простудится! — закричала бабушка и села на мусорную корзину.

— Вылезай немедленно, — приказал Антон Егорович, — иначе вызову пожарных.

— Зачем пожарных?

— Вымывать тебя, хулигана, оттуда будем. Струей, — ответил Антон Егорович.

— Это хорошо! Вымывайте, — разрешил Сережа. — А то тут пылица, дышать нечем...

И он два раза громко чихнул.

— Будь здоров, — покраснел директор. — Это конечно... В новых типовых школах под лестницей не спрячешься, зато у нас историческая биография...

Подошла тетя Сима и предложила, махнув шваброй:

— Давайте, я его оттуда шугану! Живо у меня...

— Ну уж нет, не позволю, — категорически возразила бабушка. — Это не метод.

— Метод или не метод, а я б своему за такие номера уни бы пообрывала, — сказала тетя Сима. — Вылезай, паршивец, расселся...

Бабушка вдруг сорвалась с мусорной корзины.

— Придумала! — крикнула она и исчезла.

В школьном дворе ребята таскали металлолом. Бабушка стремительно пронеслась мимо.

Девочка с косичками спросила у мальчика в берете:

— Чего это она?

— Взрослых не поймешь, — солидно ответил мальчик.

И они покатали дальше железную кровать. Кровать смешно вихлялась на круглых колесиках и повизгивала, как шенок.

— Давай отдохнем, — сказала девочка, когда кровать благополучно доехала до мотороллера без колес.

— Можно, — согласился мальчик, и они сосредоточенно запрыгали на пружинистой сетке.

Бабушка вихрем пронеслась обратно, размахивая мороженым.

— Чего это она? — спросила девочка, не переставая прыгать.

— Взрослых не поймешь, — ответил мальчик.

А бабушка с разбега брякнулась на колени перед Сережиным убежищем.

— Сережа! Мороженое! — радостно сообщила она и лизнула стаканчик. — Ох, вкусное!

Под лестницей послышалась возня — Сережа полз к запретному лакомству. Антон Егорович сосредоточился. Надо было схватить хулигана за шиворот и извлечь на простор. Но маленькая грязная рука молниеносным броском вырвала у бабушки мороженое и пропала в темноте.

Антон Егорович расслабился. Из-под лестницы несло смачное чавканье.

— Съел? — уныло спросила бабушка.

— Ага, спасибо, — ответил довольный Сережа и заел: — До чего же хорошо кругом!..

— Чего хорошего? — удивилась тетя Сима. — Туда и шваброй-то сроду не заглядывали!..

Бабушка припала к ноге директора и затихла. Антон Егорович с трудом оторвал бабушку от ноги и усадил на мусорную корзину.

Звонок возвестил о конце очередного урока. Школа вздрогнула от разноголосой бури, и ботинки всяких размеров и цветов застучали по лестничным ступеням.

— Потихе там, — проворчал Сережа. — На голову сыплется.

Оленька в окружении первоклассников подпорхнула к Антону Егоровичу.

— Сидит? — спросила она.

Вместо ответа Антон Егорович рывкнул:

— Вылезай сию минуту!

— Не вылезу, — сказал Сережа. — Надоело.

Тетя Сима, не выпуская из рук швабру, схватилась за сердце:

— Две недели всего отучились, а ему уже надоело... Вот паршивец!

И она сунула шваброй под лестницу.

— Это не метод, — встрепенулась бабушка. — Я не позволю.

Антон Егорович посмотрел на малышей, сгрудившихся возле Оленьки.

— Кто смелый? — спросил он.

— Я, — хором ответили дети и шагнули к директору.

Антон Егорович выбрал троих самых крепких.

— Помните, — сказал он, — там темно и ведро, кроме того, он наверняка будет лягаться.

Смелчаки дружно мотнули головами и так же дружно ринулись под лестницу. Загремели ведра. Шум яростной атаки и не менее яростного сопротивления заставили бабушку побледнеть.

— Господи! — прошептала она и судорожно глотнула воздух.

Сначала из-под лестницы выкатилось ведро. Затем показались три пары подошв — смелчаки пятились задом, отчаянно крихтя и сопя. Наконец появился белобрысый Сережин чуб.

— Конечно, трое против одного, — сказал он, шевеля пыльными ушами.

— Зачем ты это сделал? — тихо спросила Оленька.

Сережа сморщил полосатую мордочку и фыркнул:

— То пиши, то читай, то рисуй — каждый день одно и то же...

— Сережа, тебе не нравится в первом классе? — еще тише спросила Оленька. — Ни один урок не нравится?

— Пение нравится, — сказал Сережа и заел: — До чего же хорошо кругом!..

Бабушка наконец встала с корзины и решительно заявила:

— Петь сколько угодно можешь дома. Мое терпение лопнуло. В школу больше не пущу. Хватит. Раз сознанием не дорос, сиди дома и пой.

— Правильно, — согласился Антон Егорович, — здесь не консерватория.

— Он пачал лягаться, а я как за ногу схвачу! — сказал один из смелчаков.

— А меня он за живот ущипнул, — сказал другой и задрал рубашку.

— Таким не место в нашей исторической школе! — крикнула тетя Сима.

Сережа посмотрел на швабру, потом на директора, потом на бабушку и представил, как сидит он дома и скучает. Все пишут, читают, рисуют, а он — один. Мама с папой вечно в командировках, бабушка вечно на кухне, а он вечно один. Только-только началась настоящая жизнь — и на тебе! Сережа отвернулся и заплакал.

Ребята притихли. Антон Егорович поправил галстук. Тетя Сима взяла ведро и ушла. Сережа посмотрел на Оленьку. Оленька на Сережу.

— Ты больше не будешь? — подсказала она Сережа энергично трясти головой.
 — Я больше не буду под лестницу.
 — А куда? — спросил Антон Егорович.
 — Не знаю, честно сказал Сережа. — Я еще не придумал.
 — Как придумаешь, приходи посоветоваться, — поставил условие Антон Егорович. — Остальное решил коллектив.
 — Ну, что будем делать? — обратилась Оленька к коллективу. — Может, простим его?
 — Простим! — радостно взвизгнул коллектив.
 — И перевоспитаем, — добавил тот, кого Сережа ушщинул за живот.

Оленька улыбнулась. Сережа немного подумал и зачем-то пожал Антону Егоровичу руку.
 — Торта «Наполеон» тебе не видать как своих ушей, — подвела черту бабушка.
 Она вышла на школьное крыльцо. Девочка с косичками и мальчик в берете ехали на мотороллере без колес.
 — Дыр-дыр-дыр, — рокотал мальчик.
 — Н-на, н-на, — вторила ему девочка.
 — Соблюдайте правила движения! — крикнула им бабушка и помахала рукой: — Счастливого пути!
 — Чего это она? — спросила девочка.
 — Взрослых не поймешь, — ответил мальчик.

Гурский

БАБУШКИНЫ ХОДИКИ

Мы вызвали из Дома роботов специалиста, мастера-робота, чтобы кое-что подремонтировать в квартире.

Робот пришел с чемоданчиком.

— Так что у вас тут сломать? — весело спросил он, едва переступив порог прихожей.

— Не сломать, а так сказать, наоборот... — поправил я его и попросил пройти в гостиную к телевизору, у которого несколько дней назад пропал звук.

Но тут в прихожей на стене в ходиках вдруг закуковала кукушка.

Слушая ее, гость остановился.

— Бабушкины часики, старинная вещь, — сказала жена, когда механическая птичка, откуковав, шустро скрылась в своем деревянном домике.

— Исключительно надежная вещь, заметил я, — прошедший век, а еще ни разу не ломалась.

— Сломаем! — серьезно сказал мастер, раскрывая прямо на полу прихожей свой чемоданчик, нашел плоскогубцы, подошел к ходикам, внимательно осмотрел их, осторожно потрогал циферблат, стрелки, потом сверил показания стрелок со своими, удивленно покачивая головой, сказал:

— Жаль, значка качества нет!

И, нажав плоскогубцы к цепочкам, вдруг куснул ими — тяжелые чугунные гирьки громко стукнулись об пол. Следом за ними на пол полетели маятник, стрелки.

— Ой, нам такого мастера не надо! — первой опомнившись от испуга, воскликнула жена. Я решительно потребовал, чтобы он сматывал удочки.

— Во-первых, не мешай, я на работе, — спокойно сказал мастер, деловито снимая со стены корпус ходиков. — А, во-вторых, принеси-ка кувалду, ловчее будет ломать телевизор, а заодно прихвати и ломик.

— Кувалдой по телевизору?! — ахнула жена.

— А ломик еще зачем? — ошеломленно спросил я.

— Ломиком удобно у пианино струны обрывать, — объяснил он, выковыривая отверткой из корпуса ходиков шестеренки часового механизма.

— Да что он такое говорит: музыкальный инструмент — и ломиком! — возмущалась жена. — Он и новенькую «стенку» так же — ломиком.

— Э нет, ваш мебельный комбайн я — садовой пилой. На ма-а-а-ленькие досточки распилю, — сказал он, наступая ногами на разбросанные по полу прихожей детальки ходи-

ков.— Вот только сначала по полпровке пройдуся стальной щеткой,— и наклонился над своим чемоданчиком.

Жена зарыдала. Я лихорадочно думал, как обезвредить непрошенного погромщика. Но зная, как надежно защищают свои детища конструкторы механических людей, обеспечивая их эффективной электронно-лазерной защитой, не находил решения.

Мастер, достав из чемоданчика ржавую металлическую щетку, двинулся в гостиную. Жена, с плачем обогнав его, бросилась к «стенке», закрыв ее собой. И тут вдруг из глаз мастера брызнул фонтан искр. Какая-то невидимая сила отбросила жену назад, прямо в мои руки. При этом я сам едва устоял на ногах.

Подойдя к «стенке», он первым делом проверил, как работают дверки. Они открывались плохо и еще хуже закрывались.

— А мебель-то с брачком,— заметил он.— А я ломаю только вещи отличного качества.

— Как это — отличного качества? — не понял я.

— Запрограммирован так,— заметил он, тщательно пытаясь открыть один из ящичков «стенки». — Сломаю вещь с дефектом — самого

сломают и в металлолом. За мной следят оттуда.

— Так это хорошо! — обрадовался я.— Ты слышишь? — радостно затормозил я жену.— Он не ломает вещи с дефектом!

— Даже с одним,— уточнил он.

— А в телевизоре нет звука,— осушая слезы платочком, еле-еле выдавила из себя жена и счастливо улыбнулась.

Он тщательно проверил пнанино, в котором молоточки были прикреплены косо и при игре цеплялись друг за друга; холодильник, который при включении так громыхал, что на ночь мы его выносили на лестничную площадку; автомобиль, у которого при езде пропало куда-то масло. И многое другое. Намаявшись в поисках высококачественного, присел на тоскливо скрипнувший под ним стул и печально сказал:

— А у вас, как я понял, с отличным качеством только бабушкины ходики и были.

И заплакал.

Мы пожалели его, дав сломать отличного качества швейную иглу, которую жена всегда носила с собой на обратной стороне ворота домашнего халата.

В. Сотников. «Строительство моста». Литография

